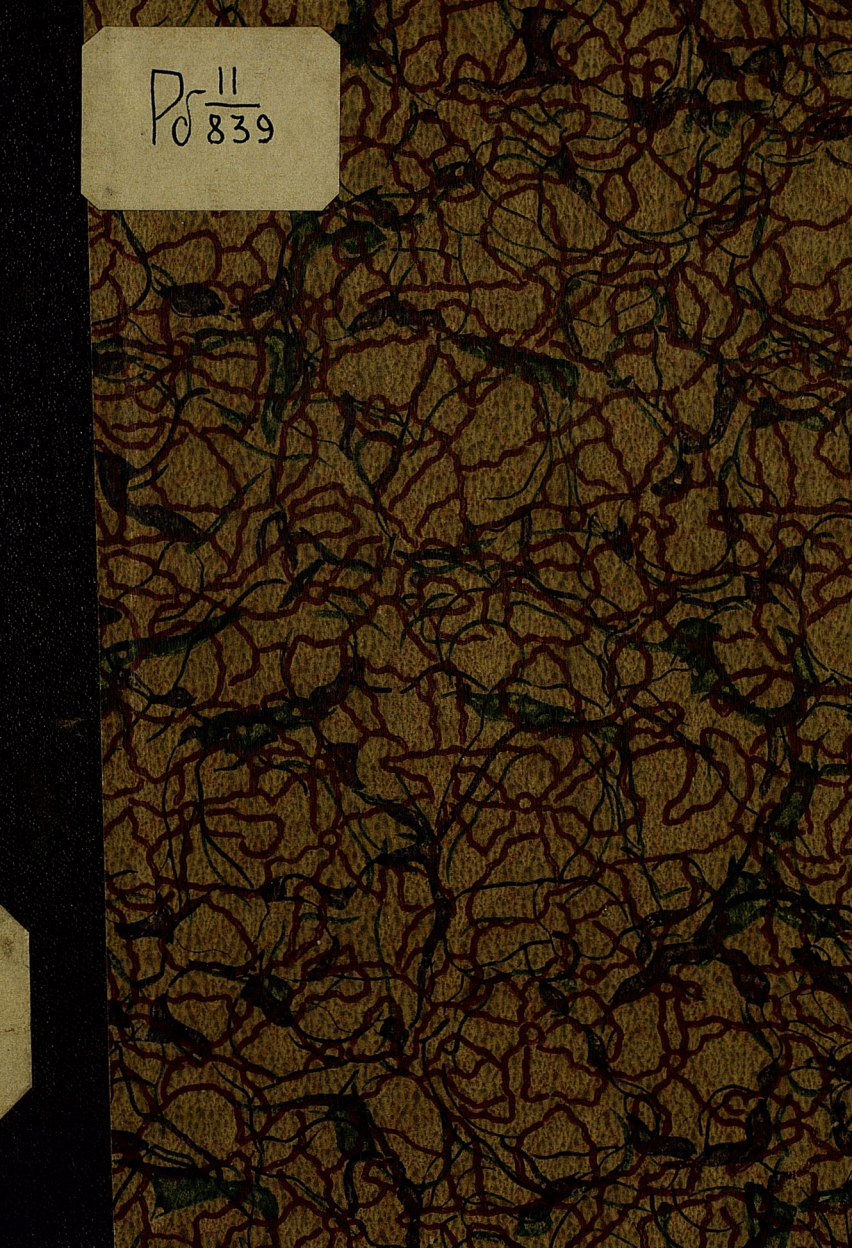


Ps<sup>11</sup>  
839













Р II  
Г 839

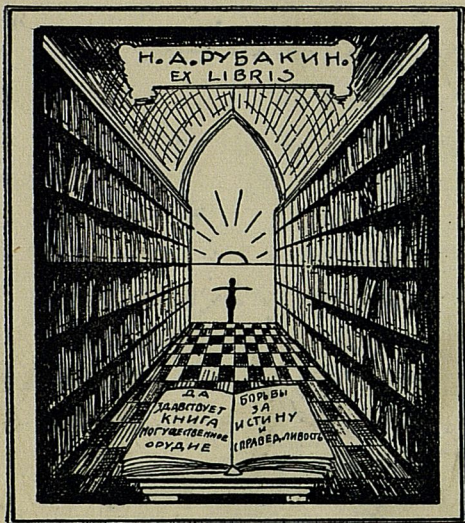
10146  
111226

Л. А. ЛАВИЛОВА



# ПЕРВОЕ ГОРЕ

И ДРУГИЕ РАЗСКАЗЫ.





11  
839

ПЕРВОЕ ГОРЕ.

ВБТЕРЗ  
ШУМЪЛЗ.

МОТЬКНЪ  
ПРЕДЪЛЪ.

ТАЙНА  
ПЕЧАЛЪ.

= РАЗСКАЗЫ

Л.А. АВИЛОВЪИ.

ТБ.



Государственная  
ордена Ленина  
Библиотека СССР  
И. В. М. ЛЕНИН

83980-48



Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул. с. д.  
МОСКВА. — 1913.



# ПЕРВОЕ ГОРЕ



Когда Гриша выходилъ на балконъ, ему стоило только прищурить свои большіе синіе глаза, чтобы видѣть за открытыми воротами конюшни круглый свѣтлый задъ Ловкаго въ его стойлѣ, рядъ уздечекъ на перегородкѣ и кучера Игната въ старой безрукавкѣ и съ неугасимой

трубкой въ зубахъ. Обыкновенно Гриша недолго противился искушенію: онъ засовывалъ обѣ руки въ карманы своихъ коротенькихъ штанишекъ, спу-

скался съ лѣсенки балкона и шель черезъ большой заросшій дворъ степенной поступью настоящаго хозяина.

— Ну, что? — спрашивалъ онъ Игната, оглядывая знакомую и милую ему обстановку каретнаго сарая. — Лѣвая все еще хромаетъ?

— Хромаетъ еще, хромаетъ! — съ полной готовностью поддержать разговоръ отвѣчалъ Игнатъ.

— А хомуть починилъ!

— Да, вотъ, починяю.

— Смотри: сегодня моего Королька никому не давать!

— Да развѣ моя воля? Скажутъ: „надо на станцію ѣхать, либо въ село, запрягай Королька“... Я и запрягу.

— Что это, право! все мою лошадь, все мою... — ворчливо замѣчалъ мальчикъ. — А овса ей всыпаль?

— Откуда же я возьму, ежели мнѣ не приказано? — отвѣчалъ Игнатъ, и бородатое, обыкновенно хмурое лицо его принимало лукавое выраженіе. — Папенька не велѣлъ.

— Безъ овса! — отчаянно вскрикивалъ Гриша, и гнѣвныя слезы навертывались у него на глазахъ.

Игнатъ весело и ласково смѣялся.

— Ишь, порохъ какой! право, порохъ, — успокоительно говорилъ онъ. — Да ужъ будьте покойны; не обижу я вашего Королька. У другихъ отниму,



а Королекъ у меня всегда въ полномъ удовольствіи. Ужъ не бойся, милый!

Онъ ласково заглядывалъ въ глаза мальчику и проводилъ по его головѣ своей корявой, грубой рукой. Гриша успокоивался и начиналъ свой обычный обходъ. Онъ садился поочередно во всѣ экипажи, влѣзалъ на козлы и дѣлалъ попутно свои замѣчанія.

— Хо-орошая телѣжка! — говорилъ онъ тономъ знатока.

— Дурного въ ней нѣтъ! — сочувственно отзывался Игнатъ.

— Дрожина-то... прочная, небось?

— Дегтемъ вымажешься, баловникъ! — предостерегалъ кучеръ. — Нянюшка будетъ браниться.

— Ладно. Не вымажусь, — спокойно отвѣчалъ Гриша.

Игнатъ служилъ въ усадьбѣ первый годъ, но очень быстро сошелся со своимъ маленькимъ бариномъ, и между ними завязалась странная, но искренняя дружба.

— Вотъ я вамъ расскажу, какъ я у Лухковскихъ господъ жилъ, — начиналъ Игнатъ. — Была у нихъ лошадь...

— Ты у нихъ до насъ жилъ?

— Нѣтъ. До васъ жилъ я тутъ у одного купца... Конечно, нужда... Безъ нужды дня бы у него не

прожилъ!.. Тоже въ судъ!.. А за что меня въ судъ? развѣ я чужое бралъ?

— А развѣ тебя купецъ хотѣлъ судить?

— Чего ужъ тамъ хотѣлъ! Прямо, значить, подалъ жалобу. Будто я у него лошадь и телѣгу увелъ. Жалованья не платилъ цѣлый годъ, а отпустить тоже не отпускаетъ. Живи! Мы съ бабой и такъ и этакъ. Пользуется, значить, что пачпорта не было. Что ты тутъ дѣлать будешь? Взяли мы съ Матреной, съ бабой моей, ночью лошадь въ телѣгу запрягли, да и... домой. Не пѣшкомъ же намъ было итти, да еще съ ребенкомъ малымъ, до дому-то верстъ шестьдесятъ будетъ. Хватился купецъ, а нашъ и слѣдъ простылъ. Лошадь я бы ему вернулъ, неужто взялъ бы. А онъ, вишь, разсвирѣпѣлъ, что даровой работникъ ушелъ, да въ судъ, да жалобу: „такъ, моль, и такъ, обокрали“.

— И судили тебя?

— Говорятъ,—судили.

— Ну, какъ же?

— А вотъ и такъ же! —неопредѣленно отвѣчалъ Игнатъ, и густыя брови его озабоченно хмурились, и все лицо надолго принимало угрюмое, почти страдальческое выраженіе.

— А ты бы сказалъ, что не виновать,—совѣтовалъ Гриша серьезно.



— Да развѣ меня спрашивали? Да и гдѣ она, соколикъ, правда-то? Судили, судили, да воромъ меня и сдѣлали. Вотъ какъ!

— Какъ сдѣлали? — жадно допытывался мальчикъ.

— А вотъ такъ! — хмурясь и горько усмѣхаясь, отвѣчалъ Игнатъ.

Иногда разговоръ принималъ другое направление.

— Развѣ Матрена твоя жена? — спрашивалъ Гриша.

— А то чья же? — добродушно отзывался Игнатъ.

— Чего же она не съ тобой, а все въ землянкѣ хлѣбы печеть?

Игнатъ улыбался.

— А чего ей тутъ со мной? Сказки мнѣ, что ли, сказывать?

— Зачѣмъ сказки? — горячо возражалъ мальчикъ. — Мама сказки папѣ не рассказываетъ, такъ живетъ... А Польша, значить, твоя дочь?

— Значить, дочь.

— А еще у васъ дѣти были?

— Нѣтъ, только и всего.

— Отчего у васъ больше не было?

Игнатъ смѣялся и крутилъ головой.

— Ну, ужъ и ребенокъ! — говорилъ онъ.

— Чего смѣешься? — слегка обижаясь и объясняя свою мысль, продолжалъ Гриша. — Вотъ у папы съ мамой трое дѣтей... Игнать! — ласково просилъ онъ тутъ же, заглядывая въ глаза своего пріятеля, — когда уѣдемъ въ городъ, ты ужъ побереги моего Королька.

— Уберегу. уберегу! — обѣщаль Игнать. — Да только, милый, какъ бы мнѣ раньше вашего не уѣхать.

— А куда? — удивленно спрашивалъ мальчикъ.

— А вотъ... туда! — съ своей обычной загадочной манерой отвѣчалъ Игнать.

Нерѣдко задушевную бесѣду друзей прерывала старуха няня.

— Гришенька! здѣсь, что ли? — спрашивала она, заглядывая въ сарай. — И что это, право, — ворчливо продолжала она, — господское дите, а въ конюшнѣ живмя-живеть. Вотъ пожалуюсь мамѣ! Скажите на милость: пріятеля себя нашель. Иди сейчасъ, иди! А ты, непутевый, — обращалась она къ Игнату, — чѣмъ тебѣ ребенка образумить, ты его пуще заманиваешь.

— Да я что же, Анна Герасимовна? Я ничего, — сконфуженно оправдывался Игнать. — Если бы я его дурному училъ...

— Еще бы тебя въ учителя! — презрительно замѣчала няня. — Иди, баловникъ, иди!



Гриша повиновался; но, чтобы подчеркнуть свое неудовольствіе, шель не рядомъ съ няней, а сзади нея, и преувеличенно надувалъ губы.

— Зачѣмъ Игната обижаешь? — наконецъ, лаконически спрашивалъ онъ. — Что онъ тебѣ сдѣлалъ?

— А развѣ онъ тебѣ компанія? — горячо возражала няня. — Тоже кучеръ! Одно слово, что кучеръ. Развѣ у насъ раньше такіе кучера были? Просто мужикъ косолапый. Идетъ, голову повѣситъ, морда вся въ волосахъ, такъ что и глазъ не видно.

— Врешь! видно! — сердито вскрикивалъ мальчикъ.

— Ну, спасибо, голубчикъ, спасибо, батюшка, что свою старую няньку на мужика промѣнялъ! Мужикъ косолапый милѣе няньки сдѣлался! — обиженнымъ тономъ говорила няня. — Спасибо, вотъ ужъ спасибо, родной!

— Да развѣ я сказалъ? Ну! — со слезами въ голосъ защищался Гриша.

Эти частыя ссоры, всегда быстро оканчивавшіяся полнымъ примиреніемъ, не проходили, однако, безслѣдно: запрещенная привязанность пріобрѣтала цѣну и силу всего запрещеннаго. Болѣе чѣмъ когда-либо тянуло Гришу къ Игнату, но, боясь огорчить няню и вызвать ея законную ревность, мальчикъ хитрилъ, закупалъ старуху лаской, нервничалъ и весь разгорался отъ радости и волненія, когда ему

удавалось обмануть бдительность няни и скрыться въ спасительной темнотѣ каретнаго сарая. Тогда онъ опять говорилъ, спрашивалъ, лазилъ, а Игнатъ слѣдилъ за нимъ, и странная нѣжность сквозила въ его угрюмыхъ, печальныхъ глазахъ подъ безпорядочно нависшими бровями.

— Идетъ! Анна Герасимовна идетъ! — шепталь онъ иногда, лукаво улыбаясь.

Гриша пугался, потомъ оба смѣялись.

---

Отца и мать Гриша видѣлъ большею частью только за столомъ. Отецъ всегда былъ занятъ, мать цѣлыми днями сидѣла у себя въ спальнѣ и считалась нездоровой. Когда у нея не болѣла голова, то болѣло что-нибудь другое, что не позволяло ей переносить шумнаго общества дѣтей и даже яркаго свѣта дня. Когда Гришѣ приходила въ голову мысль забѣжать къ ней, она ласкала его, порывисто цѣловала несчетное число разъ и сейчасъ же просила уйти и не беспокоить ее.

Иногда Гриша сопротивлялся.

— Мама, — говорилъ онъ, — я буду сидѣть тихо, очень тихо.

Онъ садился въ кресло и складывалъ руки на колѣняхъ.

— Ты здоровъ? — съ безпокойствомъ спрашивала мать.



— Да, — разсѣянно отвѣчалъ онъ, занятый какой-нибудь посторонней мыслью, и сейчасъ же переходилъ на интересующій его вопросъ. Говорилъ онъ шопотомъ, чтобы не нарушать общаго настроенія тишины и спокойствія.

— Мама, — шепталъ онъ, — отчего, когда жарко, непременно вспотѣешь?

— А тебѣ жарко? — спрашивала мать.

— Жарко... А ты думаешь въ двухъ рубашкахъ?

— Развѣ въ одной?

— Конечно, въ одной! Вотъ! — звонко вскрикивалъ Гриша и, разстегнувъ воротъ ситцевой косоворотки, показывалъ свою голую грудь.

Мать болѣзненно морщилась.

— Зачѣмъ ты кричишь? — упрекала она.

— Ахъ, я забылъ! — виновато говорилъ мальчикъ и умолкалъ. — Мама! — шепталъ онъ опять минуту спустя, — скажи: зачѣмъ хвостъ?

— Какой хвостъ?

— А у лошадей, у собакъ?

— Какъ, зачѣмъ? Такъ просто хвостъ. Такъ ужъ устроено.

— Ань не просто! а мухъ махать? Чѣмъ бы имъ мухъ-то махать?

Болтовня мальчика начинала раздражать нервную женщину, но она еще терпѣла молча, въ пол-

ной увѣренности, что Гришѣ самому надоѣсть полумракъ комнаты, и онъ уйдетъ. Но Гриша скользилъ по спинкѣ кресла, укладывался спиной на сидѣньѣ и задиралъ ноги, закладывая ихъ одну на другую,

— Мама,—говорилъ онъ опять,—а ты знаешь, гдѣ заводятся блохи?

Мать брезгливо морщилась и закрывала глаза.

— Ну ужъ, Гриша! Что это за разговоръ!

— Въ гужахъ. Если заведутся блохи, надо гужи выбросить и ужъ новые...

— Вотъ что значить, что ты все по конюшнямъ! Съ осени найму тебѣ гувернантку. Мнѣ стыдно за тебя!

— Отчего стыдно? — удивленно спрашивалъ мальчикъ.

— Ну, хорошо. Ну, иди. Иди къ нянѣ и се-страмъ. Все ты или одинъ или съ мужиками.

Гриша глубоко вздыхалъ, нехотя поднимался съ кресла и опять вздыхалъ: ему еще не хотѣлось уходить изъ прохладной комнаты, отъ своей грустной, больной, но все же нѣжно-любимой мамы.

— Поцѣлуй меня! — тихо говорила мать.

Онъ цѣловалъ, шалилъ, терся лицомъ объ ея лицо, а она нащупывала подъ рубашкой его острыя плечики и впадала въ жалобный тонъ.



— Худой ты у меня! блѣдненькій! Гриша, отчего ты такой?

— Шалю! — отвѣчалъ по привычкѣ мальчикъ, но сострадательная нѣжность матери дѣйствовала на его нервы и жалобила его.

— Ты у меня плохонькій! И тебѣ не легко! И у тебя часто не весело на душонкѣ, мой мальчикъ!

И случалось, что тронутый ея жалостью и непонятными еще для него словами, Гриша вдругъ начиналъ рыдать на ея плечѣ.

— Что ты? о чемъ ты? — испуганно допрашивала его мать и трогала его голову, чтобъ узнать, нѣтъ ли жару.

Но Гриша сейчасъ же успокаивался и уходилъ. И не успѣвалъ онъ дойти до двери, какъ уже забывалъ о своихъ безпричинныхъ слезахъ, занятый какой-нибудь новой интересной мыслью. Что-то еще вздрагивало и всхлипывало въ груди, а онъ уже радостно нащупывалъ въ карманѣ забытую веревку и соображалъ, какое бы сдѣлать изъ нея наилучшее употребленіе.

А между тѣмъ первое серьезное горе уже висѣло надъ его головой.

Въ одно утро отецъ, не отрываясь отъ газеты, сказалъ мамѣ черезъ столъ:

— Да... ты знаешь? За Игнатомъ пріѣхали!

— Пріѣхали? уже? — испуганно переспросила мама и, словно обдумывая что-то, опустила на столъ недопитую чашку.

— Неужели ничего нельзя было сдѣлать? вѣдь у нихъ дѣти, — тихо сказала она.

— Что жъ прикажешь? — пожалъ плечами отецъ. — Не связываться же съ этимъ мерзавцемъ... ну, какъ его тамъ? съ купцомъ этимъ... Я его не-много знаю: кулакъ и мошенникъ.

— Ну, вотъ видишь, тѣмъ болѣе! — сказала мама.

— Чего же, тѣмъ болѣе? Увель лошадь, да еще замокъ сломанъ, ну, значить, воровство со взломомъ... Дѣло ясно.

— Но что же имъ было дѣлать? — спросила мама. — Вѣдь этотъ человѣкъ воспользовался какой-то задержкой съ паспортомъ, не платилъ жалованья, вымогалъ даровую работу... Вѣдь Игнатъ просто убѣжалъ изъ рабства...

— А уводить лошадь все-таки не слѣдовало! Ну, будетъ, что теперь толковать! — съ досадой отвѣчалъ отецъ и опять углубился въ газету.

Гриша жадно слушалъ и ничего не понималъ.

— Мама, куда везутъ Игната? — спросилъ онъ, широко раскрывая глаза.



Мать разсѣянно поглядѣла на него, но вдругъ вспомнила о дружбѣ мальчика съ кучеромъ, чуть-чуть нахмурилась и отвела глаза.

— Кто пріѣхаль за Игнатомъ, мама? — продолжалъ допытываться Гриша.

— Отчего не сказать ему? — недовольнымъ тономъ заговорилъ отецъ. — Что это за вѣчная боязнь огорчить, повліять на нервы? И выйдетъ какая-то мокрая курица, тряпка, а не человѣкъ...

— Боже мой, да говори самъ! Развѣ я мѣшаю? — со слезами на глазахъ вскрикнула мама, подняла руки къ вискамъ и вышла изъ-за стола.

— Вѣчныя сцены! вѣчныя сцены! — закричалъ ей вслѣдъ отецъ.

— Твоего Игната везуть въ острогъ за кражу со взломомъ. Понимаешь? — сказалъ онъ жестко. Гриша поблѣднѣлъ. — Игната за кражу, а его жену Матрену за пособничество. Его на три года, а ее на полтора.

— А Польку? — спросилъ Гриша.

— А Польку... Ну, что жъ Польку? Конечно, ее не въ острогъ... Я ужъ не знаю, куда ее... Польку.

Гриша въ упоръ глядѣлъ на отца, и глаза его дѣлались блестящими и злыми. Онъ блѣднѣлъ все сильнѣе, но онъ боялся отца и сдерживался, насколько могъ.

— Это за что же? — вызывающимъ тономъ спросилъ онъ.

— Онъ укралъ, тебѣ говорятъ. Или все равно, что укралъ.

— Совсѣмъ не все равно!.. И самъ же ты ска-  
заль, что купецъ мошенникъ.

-- Ну, сказалъ.

— Такъ что же это? какъ же это? развѣ это  
можно?

Отецъ вдругъ разсердился.

— Пожалуйста, пожалуйста, безъ исторій! Раз-  
баловали такъ, что силъ нѣтъ никакихъ.

Сдерживаясь, насколько могъ, Гриша всталъ и  
вышелъ изъ комнаты. Но только онъ очутился за  
дверью, какъ гнѣвъ и обида на кого-то словно  
стиснули ему горло. Онъ побѣжалъ по коридору  
и выскочилъ на балконъ. Его первой мыслью было  
повидать Игната, но ворота конюшни были за-  
перты, и это означало, что Игната тамъ нѣтъ.  
Гриша побѣжалъ въ дѣвичью. Тамъ у стола си-  
дѣла няня и пила чай, а противъ нея сидѣлъ ка-  
кой-то незнакомый Гришѣ мужчина въ военной  
формѣ. Военный, манерно отставляя локоть, доста-  
валъ изъ банки варенье и ѣлъ, запивая его чаемъ.  
Гриша сейчасъ же узналъ нянину банку и понялъ,  
что няня угощаетъ военнаго, но онъ былъ такъ  
занятъ неожиданной вѣстью объ отъѣздѣ Игната,  
что не обратилъ вниманія на присутствіе нянинаго  
гостя.



— Няня, кто пріѣхаль за Игнатомъ? — дрожащимъ голосомъ спросилъ онъ.

Няня отвѣтила не сразу.

— Да, отвезутъ теперь твоего голубчика; не будешь больше отъ няньки бѣгать.

— Кто пріѣхаль, няня?

— Теперь ужъ не отвертится... Кто пріѣхаль-то? да вотъ кто пріѣхаль.

Гриша понялъ не сразу. Тотъ, кто долженъ былъ везти Игната и Матрену въ тюрьму, представлялся ему огромнымъ, страшнымъ и отвратительнымъ на видъ, а на него глядѣло загорѣлое, добродушное лицо военнаго и улыбалось не то смущенной, не то, просто, глупой улыбкой. Кромѣ него и няни, никого больше въ комнатѣ не было. Наконецъ Гриша понялъ.

— Ты? — удивленно и недоувѣрчиво спросилъ онъ, глядя въ упоръ на военнаго.

— Я-сь! — осклабяясь въ широкую улыбку, отвѣтилъ тотъ, видимо колеблясь, встать ли ему передъ барчонкомъ или продолжать сидѣть.

— Ты? — еще разъ повторилъ Гриша, и голосъ его какъ-то странно сорвался и зазвенѣлъ.

— Гришенька! да ты что? ты въ умѣ ли? — крикнула няня.

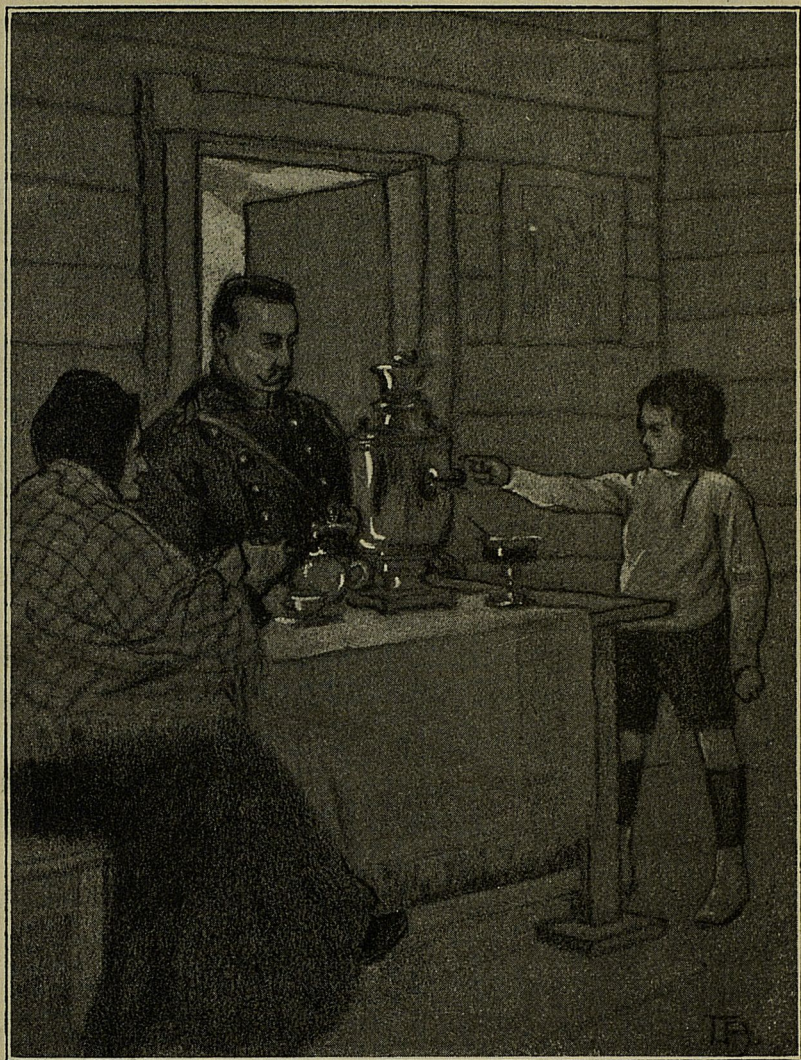
Но мальчикъ уже не владѣлъ собой: въ глазахъ у него помутилось, въ головѣ странно зашумѣло.

— Ты... ты негодный!.. я тебя... я тебя расколочу! — взвизгнулъ онъ и бросился впередъ. Но вдругъ лицо его передернулось, углы рта задрожали, и онъ заплакалъ громко и жалобно, какъ плачуть беспомощныя, огорченныя дѣти. Урядникъ смущенно смѣялся и оглядывался по сторонамъ, разводя руками...

Гриша убѣждалъ въ дѣтскую, забился въ уголь около своей кровати и прижался къ стѣнѣ, держась обѣими руками за грудь. Бесильное негодование все еще клокотало въ немъ и искало себѣ исхода. Онъ увидалъ на полу сестрину куклу, сталъ топтать ее ногами и, наконецъ, отшвырнулъ ее въ другой конецъ комнаты. На стѣнѣ висѣла его собственная картинка; онъ сорвалъ ее и бросилъ на полъ. Отъ такой усиленной дѣятельности нервная напряженность его нѣсколько ослабла: онъ сѣлъ, прислонился лбомъ къ желѣзу кровати, затихъ и сталъ мечтать... Онъ мечталъ о силѣ...

Ему нужна была сила, чтобы мстить, чтобы покорять всѣхъ этихъ жестокихъ и виноватыхъ людей: судей, которые осудили Игната, урядника, который долженъ былъ увезти его; няню за то, что она угощала урядника вареньемъ, и даже отца... На отца Гриша негодовалъ за его видимое равнодушіе къ судьбѣ Игната. Онъ долженъ былъ за-







ступиться, долженъ былъ прогнать урядника, а онъ оставался спокойнымъ, читалъ свои газеты и даже сказалъ, что Игнатъ „все равно, что воръ“.

Гриша придумывалъ наказанія и наслаждался.

„Ладно!—говорилъ онъ себѣ, думая о нянѣ.— Эту я проберу: не буду съ ней говорить и прощаться и обрѣжу себѣ палецъ. Пойдетъ кровь... ручьемъ... а я не дамся завязать. Пусть тогда кормить своимъ вареньемъ кого угодно!“

Гриша мечталъ о мести и ковырялъ ногтемъ отставшую краску на желѣзѣ. Вдругъ онъ насто-рожился: ему послышался громкій говоръ отца и въ отвѣтъ ему робкій голосъ Игната. Мигомъ онъ вскочилъ и выбѣжалъ въ дѣвичью. Среди комнаты, низко опустивъ голову, стояли Игнатъ и Матрена и переминались съ ноги на ногу. Около Матрены, уткнувшись носомъ въ сборки ея платья, стояла Польшка, а мать глядѣла на нее сверху, и на лицѣ ея было больше тупого недоумѣнія, чѣмъ страха и горя. Сзади нихъ, изъ-за дверей выглядывали любопытныя лица дворни.

— Ну, ладно, — громко говорилъ Гришинъ отецъ, — теперь ужъ поздно и ничего не подѣлаешь. Насчетъ Польшки не безпокойтесь. Худо ей не будетъ, а въ животѣ и смерти одинъ Богъ воленъ. Обѣщаемся ее беречь. Съ Богомъ, Игнатъ! Что жъ дѣлать?!



Отецъ махнулъ рукой, какъ бы давая понять, что прощаніе кончено, но никто не трогался съ мѣста. Игнатъ молчалъ и тупо глядѣлъ себѣ въ ноги.

— Да, мы обѣщаемся, — дрожащимъ голосомъ прибавила мама, протянувъ руку къ Полькѣ, но сейчасъ же опустила ее и отвернулась.

— Дѣла теперь ужъ не поправишь! — опять заговорилъ отецъ, видимо начинавшій тяготиться нѣмой сценой отчаянія этихъ людей. — Ужъ надо какъ-нибудь... Срокъ не такъ великъ.

Матрена тихо отстранила Польку, сдѣлала шагъ впередъ и молча повалилась барынѣ въ ноги, касаясь лбомъ пола.

— Матрена! — вскрикнула та, и слезы сразу брызнули у нея изъ глазъ. — Не кланяйся мнѣ Матрена! Повѣрь ты мнѣ: я уберегу твою дѣвочку. Я тебѣ клянусь... Не кланяйся въ ноги!

Она наклонилась, дотронулась дрожащей рукой до плеча Матрены, и сама опустилась на полъ рядомъ съ ней.

— Надо терпѣть... Всѣмъ надо терпѣть! — торопливо шептала она. — Всѣмъ надо...

— Ну, довольно, довольно! — не скрывая своего нетерпѣнія, заговорилъ отецъ. — Я очень огорченъ. Я былъ доволенъ тобой, Игнатъ. Отбудешь срокъ, приходи опять. Возьму. И не безпокойся за дочь. Съ Богомъ теперь!

Онъ взялъ за руку жену и хотѣлъ увести ее съ собой, но та освободила руку и еще разъ крѣпко обняла Матрену.

— Надо терпѣть! — шепнула она еще разъ.

Матрена встала. Она обвела комнату недоумѣвающимъ взглядомъ и остановилась на Гришѣ. Одинъ мигъ женщина и мальчикъ глядѣли другъ другу въ глаза, потомъ Гриша робко опустилъ рѣсницы и двинулся впередъ.

— Прощай! — сказалъ онъ очень тихо и очень ласково.

Но Матрена продолжала глядѣть на него молча, все еще недоумѣвая надъ чѣмъ-то. Тогда Гриша направился къ Игнату. Онъ протянулъ руку, Игнатъ взялъ ее и вдругъ наклонился къ самому лицу ребенка.

— Польку... будешь жалѣть? — спросилъ онъ.

— Буду! — серьезно и торжественно отвѣтилъ Гриша и смѣлымъ блестящимъ взоромъ взглянулъ въ печальные глаза своего друга.

Игнатъ провель рукой по головѣ мальчика, исто-во перекрестился на образъ и направился къ двери.

— Матрена! — позваль кто-то изъ дворни. — Матрена! Игнатъ-то вышелъ. Ждутъ тебя, поди! Телѣга у крыльца.

Молодая женщина встrepенулась, тупое выра-женіе недоумѣнія смѣнилось испугомъ. Рядомъ съ



ней, попережнему уткнувшись лицомъ въ складки платья, стояла Польшка и дрожала всѣмъ тѣломъ.

— Ну, иди... иди къ нянькѣ, — сказалъ отецъ, останавливаясь передъ Гришей, который опять сидѣлъ въ дѣтской за кроватью и мрачно смотрѣлъ передъ собой.

Мальчикъ молчалъ и не трогался съ мѣста.

— Гриша, — строго крикнулъ отецъ, — тебѣ я говорю или нѣтъ?

Ребенокъ поднялъ голову и остановилъ на немъ серьезный, непріязненный и пристальный взглядъ.

— Послушай, — невольно смягчаясь, заговорилъ отецъ, — ты, кажется, сердишься на меня? Я-то тутъ при чемъ? Развѣ я виноватъ? Это мнѣ слѣдовало бы хорошенько отчитать тебя: какъ ты смѣлъ скандалить и кричать на урядника? Да говори же! — нетерпѣливо крикнулъ онъ, чувствуя, что упорный взглядъ сына раздражаетъ и какъ будто стѣсняетъ его.

— Пусть... — тихо и спокойно сказалъ Гриша.

— Что пусть?

— Пусть ты меня бранишь. Мнѣ теперь все равно.

Отецъ немного растерялся.

— Ну, прекрасно, — сказалъ онъ. — А я съ тобой теперь и говорить не хочу.

Онъ повернулся и направился къ двери.

— По-твоему,—крикнулъ ему вслѣдъ Гриша,— по-твоему его вареньемъ кормить, какъ няня?

Отецъ остановился.

— Всякій дѣлаетъ свое дѣло,—замѣтилъ онъ,— исполняетъ свой долгъ. Уряднику приказано было ѣхать за Игнатомъ, онъ поѣхалъ. Весьма вѣроятно, что онъ хорошій, добрый человекъ, а ты обидѣлъ его. И ты обидѣлъ меня, няньку... За что?

Гриша медленно опустилъ глаза, и на лицѣ его ясно выразились недоумѣніе и боль.

— Нехорошо, братъ!—укоризненно заключилъ отецъ и вышелъ изъ комнаты.

Гриша сидѣлъ неподвижно.

„Обидѣлъ“... думалъ онъ. Онъ вспомнилъ, какъ онъ мечталъ о силѣ,—мечталъ о томъ, какъ онъ отомститъ отцу, уряднику, нянѣ за то, что они не заступились за Игната, не пожалѣли его такъ, какъ пожалѣлъ онъ.

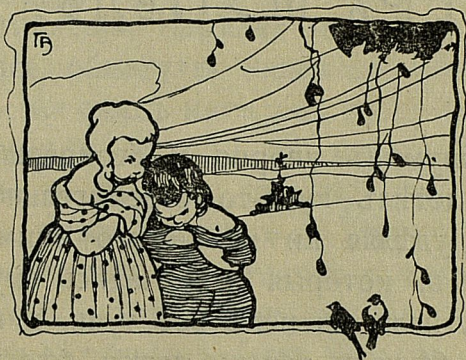
„Нехорошо, братъ!—вспомнился ему укоризненный, почти ласковый голосъ отца. — Нехорошо?.. Обидѣлъ... — мучительно раздумывалъ мальчикъ.— Я обидѣлъ... А они всѣ... Игната... за что?“

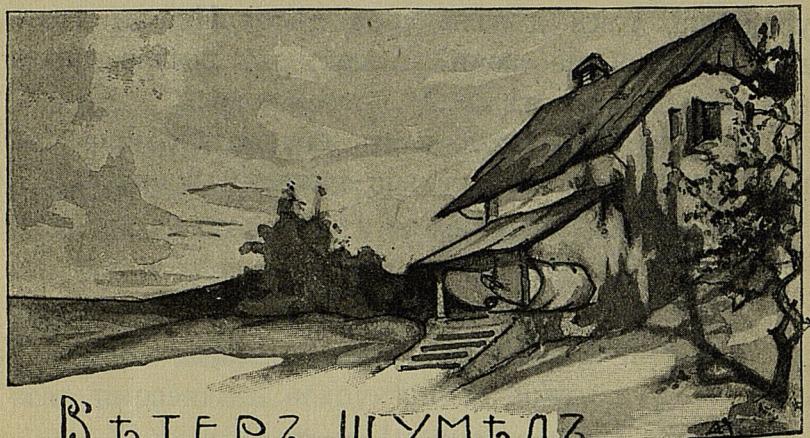
Гриша опустилъ голову еще ниже, и глубокія морщины прорѣзались на его дѣтскомъ лбу.



„Всякій дѣлаетъ свое дѣло... И тѣ, кто послалъ урядника, тоже дѣлали свое дѣло? И они тоже добрые, хорошіе люди? А какъ же вышло такое нехорошее, злое дѣло?..“

Онъ поднялъ глаза, и въ его остановившемся взглядѣ застылъ мучительно тяжелый вопросъ.





## ВѢТЕРЪ ШУМѢЛЪ.

Вѣтеръ шумѣлъ упорно и непрерывно, какъ будто летѣлъ куда-то стремительно и нетерпѣливо, не удѣляя ни малѣйшаго вниманія тѣмъ препятствіямъ, которыя встрѣчались ему по пути. Онъ уже угналъ на небѣ всѣ тучи, и по бездонной лазури бѣжали теперь легкія, бѣлыя облачка. Они поднимались съ южной стороны дружной сплошной массой, а вѣтеръ разрывалъ эту массу на клочья, разносилъ ихъ по небосклону, и тогда тѣ, которыя спускались ниже, неслись быстрѣе, перегоняя своихъ спутниковъ, мѣняя свои очертанія, измученныя непосильнымъ бѣгомъ или обрадо-



ванные неожиданно быстрымъ и легкимъ полетомъ. Солнце глядѣло на нихъ сверху, какъ будто удивляясь ихъ безпричинной, непонятной спѣшкѣ, которая мѣшала ему свѣтить ровно и спокойно. Полуденные лучи его, зараженные безпокойнымъ настроеніемъ природы, боролись за свои права и, задержанные на мигъ облаками, обдавали землю горячимъ потокомъ. Садъ глухо стоналъ. Молодые и старыя деревья, точно испуганныя натискомъ вѣтра, дрожа каждымъ листкомъ за свое существованіе, покорно наклоняли вершины, и казалось, что даже цвѣтъ ихъ, густой и зеленый, блѣднѣетъ отъ страха и утомленія. Изрѣдка одна изъ верхушекъ выпрямлялась, обманутая надеждой или движимая протестомъ; на одинъ мигъ она гордо возвышалась надъ другими и вдругъ, съ взмахомъ отчаянія, метнувшись то въ одну сторону, то въ другую, пригибалась ниже прежняго... Вѣтеръ шумѣлъ и нетерпѣливо летѣлъ куда-то все дальше и дальше.

На балконѣ помѣщичьяго хутора сорвало холщевый тентъ, которымъ была затянута вся южная сторона. Холстъ, прикрѣпленный теперь только сверху, поднялся нижнимъ краемъ и хлопалъ, то опускаясь, то поднимаясь вновь. Посрединѣ балкона раскачивалась висячая садовая лампа, и желѣзный колпакъ, сбитый на сторону, жалобно скрипѣлъ и стучалъ.



— Марина! — крикнулъ мальчикъ лѣтъ десяти, выбѣгая изъ балконной двери гостиной.—Марина!

Холстъ громко хлопнулъ, и желѣзный колпакъ взвизгнулъ и задрезжалъ.

Мальчикъ разсѣянно оглянулся, торопливо накинулъ на стриженую голову свѣтлый лѣтній картузикъ и, стуча высокими сапогами, сбѣжалъ по ступенямъ лѣстницы на песчаную дорожку сада. По песку быстро и беспорядочно метались тѣни, и казалось, что вѣтеръ, овладѣвъ солнечнымъ свѣтомъ, тоже гналъ его передъ собой, и яркіе, палящіе лучи только скользили по аллеямъ и по куртинамъ и убѣгали въ поле, то разливались широкой, побѣдоносной волной, то внезапно меркли, убѣгая еще дальше, въ безпредѣльную, лучезарную, спокойную даль.

Дорожка спускалась къ пруду. У берега свистящимъ звукомъ шумѣли ивнякъ и лозина, а по водѣ бѣжала крупная, стального отлива рябь. Въ густыхъ кустахъ вишняка возились скворцы и то взлетали на воздухъ отдѣльными стайками, то опять прятались въ зелени, и скрипящій звукъ ихъ многочисленныхъ голосовъ сливался съ шумомъ вѣтра и заглушалъ плескъ прибрежной волны и голоса другихъ птицъ.

— Марина!—опять закричалъ мальчикъ и, остановившись на нижней дорожкѣ, оглядѣлся кругомъ.





Прямо передь  
нимъ, на пригор-  
кѣ, стояла жен-  
щина въ свѣтлой юбкѣ  
и, обернувшись къ нему  
задомъ, искала что-то въ  
травѣ, перебирая ее од-  
ной рукой.

— Такъ вотъ же  
ты! — радостно вскрик-  
нулъ мальчикъ и, ловко  
вспрыгнувъ на земляной  
уступъ, вырытый когда-  
то для того, чтобы сра-



внять нижнюю аллею по берегу пруда, побѣжалъ вверхъ, разрывая на каждомъ шагу высокую спутанную траву.

— Ты чего тутъ ищешь? — спросилъ онъ.

Женщина выпрямилась, придерживая конецъ фартука, въ который она собирала зелень, ласково взглянула на мальчика и поправила свободной рукой головной платокъ.

— А хрѣнь, — сказала она.

— Покажи, какой! — попросилъ мальчикъ. — Отчего онъ тутъ растеть?

Она показала и отвѣтила:

— Растеть.

— Иди, тебя Василій ждетъ, — сказалъ мальчикъ. — Сейчасъ ѣдутъ. Мама позволила мнѣ проводить ихъ до подсолнуховъ. Тамъ Григорій, и я вернусь съ нимъ на дрожкахъ.

— Ишь ты! — сказала Марина. — Не видалъ еще, какъ подсолнухи подбиваются? Въ такую погоду ѣхать!

— А что жъ погода? Ничего! Ну, иди скорѣй, лошадь готова.

— Чего Василію-то? — спросила Марина, когда они поднялись на верхнюю дорожку и пошли по направленію къ дому.

— Да мама сказала, надо чего-то въ Терновкѣ купить, а безъ тебя не знаютъ, чего. Ребенокъ все кричитъ, — прибавилъ онъ.



— Онъ сроду кричитъ,—спокойно сказала Марина.—Это Василій заладилъ къ доктору его везти, потому что мальчишка... ну, ему и жалко: онъ сыну-то радъ былъ... А чего тутъ докторъ подѣляетъ? У нихъ дѣти не живутъ.

— А развѣ у нихъ еще дѣти были?—спросилъ мальчикъ.

— Третій. Двое ужъ померло. Да о нихъ Василій и не тужилъ: дѣвчонки все родились.

Мальчикъ съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на спокойное, улыбающееся лицо Марины и промолчалъ.

— Тутъ докторъ ничего не поможетъ!—еще разъ убѣжденно повторила Марина.—Только лошадей прогоняютъ взадъ и впередъ, вотъ и весь толкъ!

Они прошли мимо фасада дома, повернули въ калитку и очутились около кухоннаго крыльца. На травѣ лежали три большія собаки, а на скамеечкѣ подъ навѣсомъ сидѣла женщина, закутанная, несмотря на жару, въ теплое пальто и большой темный платокъ.

— Собралась?—спросила Марина.

— Да вотъ... Василій тамъ чего-то...—тихо отвѣтила женщина, и ея ясные, кроткіе глаза, поднявшись на одинъ мигъ, опять опустились къ маленькому пестрому свертку, который она держала на рукахъ, крѣпко прижимая его къ груди.

— Гдѣ Василій-то? — спросила Марина.

— Да никакъ въ домѣ. Володюшка, Василя не видалъ?

— Въ дѣвичьей онъ! Въ дѣвичьей! — крикнулъ мальчикъ, сядясь верхомъ на одну изъ лежащихъ собакъ.—Ты поскорѣй, Марина, а то какъ бы Григорій не вернулся.

— Ужъ и скорый баринъ! — ласково проворчала Марина.— Вотъ продуетъ тебѣ голову вѣтромъ... Теперь въ полѣ такъ и рветъ.

Она ушла въ домъ, а мальчикъ посидѣлъ верхомъ на собакѣ, потеревилъ ее за уши и, убѣдившись, что у нея нѣтъ ни малѣйшей охоты шалить, вскочилъ на ноги и подсѣлъ къ женщинѣ въ пальто.

— Успокоился? — спросилъ онъ, кивая головой на пестрый свертокъ ситцеваго одѣяла. Но въ то же время онъ самъ услыхалъ тихій, заглушенный крикъ, похожій на мяуканье кошки, а женщина еще крѣпче прижала ребенка къ своей груди и, раскачиваясь всѣмъ туловищемъ, стала хлопать по одѣялу рукой.

— Какой у него спокой! — тихо сказала она.— Ни днемъ ни ночью. Всю душу вытянулъ. Двѣ недѣли маюсь. Впору самой кричать...

Ея молодое, красивое лицо нахмурилось, губы сжались, а ясные, кроткіе глаза поднялись вверхъ



съ выраженіемъ глубокой тоски и глубокаго утомленія.

— А что у него болитъ? — спросилъ Володя, болтая ногами подъ лавкой.

— А кто его знаетъ! — со вздохомъ отозвалась женщина. — Развѣ онъ скажетъ? Раньше рѣзко кричалъ, а теперь, должно, ужъ силушки не стало: такъ, пищить...

На крыльцѣ дома показался Василій. Держа картузь въ рукѣ, онъ дослушивалъ какія-то приказанія, которыя кто-то, невидимый, давалъ ему изъ сѣней, и, наконецъ, выслушавъ все, поспѣшно надѣлъ киртузь и побѣжалъ черезъ дворъ къ конюшнѣ.

— Василій! Я подамъ! — крикнулъ Володя, срываясь съ своего мѣста. — Я подамъ! подожди!

Оба вмѣстѣ открыли сарай, вывели запряженную въ телѣгу лошадь, и въ то время, какъ Василій затворялъ ворота, Володя вскарабкался въ телѣгу и легкой рысцой поѣхалъ по двору.

— Оеклуша, садись! — радостно крикнулъ онъ, осаживая лошадь около кухни. — Я поверну, не бойся!

Оеклуша поднялась, бережно завернула низъ одѣяла и, придерживая ребенка одной рукой, полѣзла въ телѣгу. Губы ея что-то беззвучно шептали, и лицо сразу стало бодрѣе и оживленнѣе.



Подоспѣлъ Василій, положилъ что-то въ передокъ, подъ сѣно, и, вспрыгнувъ на грядущку, зачмокалъ губами и потянулъ правую вожжу.

— Баранокъ связку возьмите! — закричала Марина, поспѣшно выбѣгая на крыльцо. — Баранокъ... Да смотри, дрождей-то не забудь пуще всего. Василій! Дрождей...

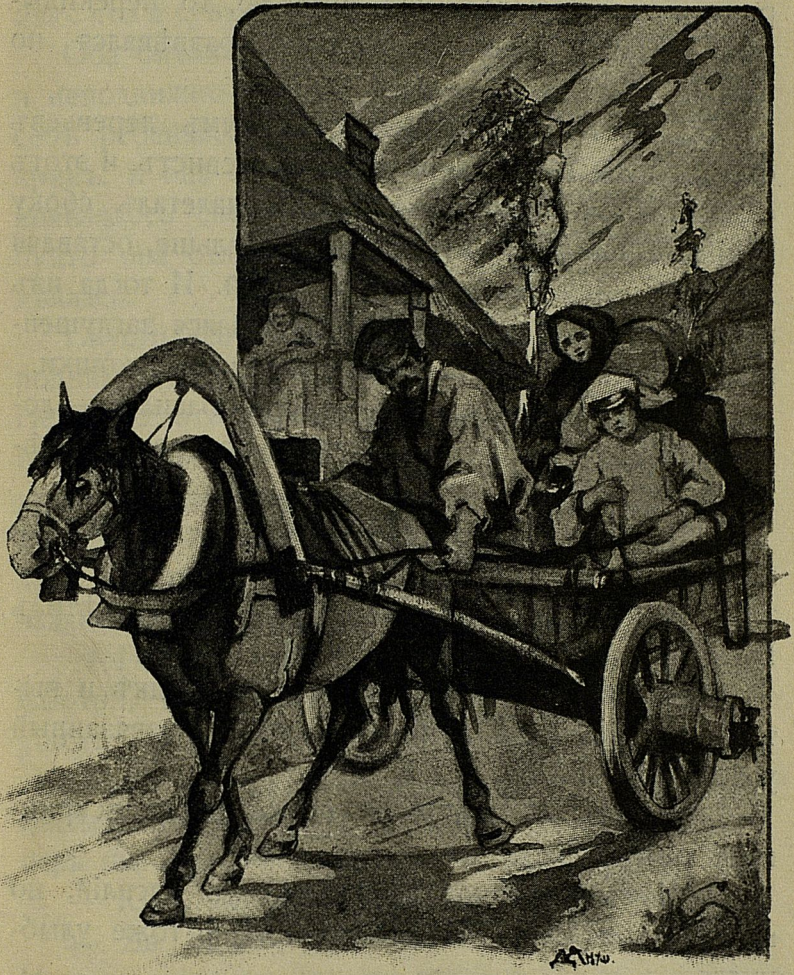
— Слушаю... не забуду... — возбужденно отвѣтилъ Василій, и въ его тонѣ, въ его лицѣ тоже свѣтилась надежда и радостное ожиданіе помощи.

Телѣга мягко прокатилась по травѣ просторнаго заросшаго двора, прогремѣла по маленькому мостику у левады и затряслась по сухой, пыльной дорогѣ, огибая одинъ уголь сада и затѣмъ уклоняясь отъ хутора все правѣе и правѣе.

Вѣтеръ шумѣлъ. Верхушки деревьевъ нагибались въ сторону дороги, точно кланяясь отъѣзжающимъ и прощаясь съ ними; по зелени полей одна за другой непрерывно бѣжали волны, и тѣ же тѣни, отбрасываемыя облаками, гнались на просторѣ попеременно съ свѣтовыми полосами и, перебивая, перегоняя другъ друга, уходили въ безпредѣльную, лучезарную и, казалось, спокойную даль.

— Эй, милый! — весело кричалъ Володя, подражая кучеру и стегая лошадь вожжей по спинѣ.







Лошадь бѣжала, а хвостъ ея отлеталъ въ сторону и то забивался подъ оглоблю, то перекидывался черезъ нее и свободно развѣвался по вѣтру.

Когда отѣхали отъ хутора, шумъ деревьевъ остался позади, и теперь слышался свистъ, и этотъ свистъ неся откуда-то издалека, налеталъ сбоку бурнымъ порывомъ и проносился дальше, оставляя за собой минутное затишье и покой. И тогда изъ пестраго одѣяла чуть слышно раздавался заглушенный, слабый крикъ, похожій на мяуканье кошки.

— Не гоните, баринъ, — сказалъ Василій: — лошадь намъ какъ бы не запалить. Больно ужъ вѣтеръ...

— А ты чего подъ сѣно сунуль? — вспомнилъ мальчикъ.

— Что я сунуль? Ничего не соваль! — отвѣтилъ Василій.

Мальчикъ проворно порылся въ передкѣ и вытащилъ веревку и ситцевый платокъ, завязанный узломъ.

— А это что жъ? — съ торжествомъ вскрикнулъ онъ и захохоталъ.

— Харчъ, — равнодушно отвѣтилъ Василій, но взглянулъ на смѣющагося мальчика и тоже улыбнулся.

— А говоришь, ничего не соваль?



— Хлѣба горбушка да яицъ пятокъ... А я думаю: что я сунуль? Ужъ и баринь! Хозяйскій глазъ!

Оба смѣялись, а Ѳеклуша сидѣла неподвижно и неподвижно глядѣла передъ собой, прижимая къ себѣ ребенка; и когда вѣтеръ заглушалъ слабый крикъ, и она переставала его слышать, на лицѣ ея появлялось спокойное, радостное выраженіе, какъ будто она отдыхала душой и опять вѣрила и надѣялась.

Спустились въ маленькую сухую балку и стали подниматься по противоположной отлогой сторонѣ. Недалеко отъ дороги стояла бѣлая спутанная лошадь и, повернувъ морду, проводила ихъ задумчивымъ тоскливымъ взглядомъ. Она стояла неподвижно и глядѣла на дорогу, какъ будто надѣялась, что тѣ, которые ѣхали мимо, увидятъ ея печальное одиночество, угадаютъ ея печальныя думы.

— Голубь! — радостно закричалъ мальчикъ. — Смотри, куда Голубь-то забрался! Спутанный, а ушелъ.

— Это онъ затишки ищетъ, баринь, — пояснилъ Василій. — Умная лошадь. Стара ужъ очень, а теперь шею ей покусали, шея у нея болитъ.

— Кто покусаль? — живо спросилъ Володя.

— Да одинъ у насъ скандалистъ, барчукъ. Ночью сорвался, да по стойламъ какъ зачнетъ бѣгать!



— Кто поймалъ?—съ жаднымъ любопытствомъ спросилъ мальчикъ.

— Да мы съ Иваномъ - кучеромъ прибѣжали...

Телѣга опять уже катилась по ровной дорогѣ степи, и, когда Володя оглянулся, чтобы еще разъ посмотрѣть на старую, обиженную лошадь, она уже скрылась въ лощинѣ, и онъ увидѣлъ только, какъ вѣтеръ, точно присѣвъ къ землѣ, подобралъ съ дороги облако пыли, поднялъ его высоко и быстро понесъ въ сторону, обсыпая еще свѣжую зелень посѣвовъ горячей изсохшей землей. Опять настало минутное затишье, и на этотъ разъ оно было такъ неожиданно и полно, что даже Володя удивленно оглянулся кругомъ, какъ будто искалъ значеніе этого глубокаго молчанія и не находилъ его. Василій задумчиво опустилъ голову, а Феклуша приникла ухомъ къ пестрому одѣяльцу и тоже, казалось, замерла, ожидая услышать привычный, навязшій въ ухахъ, жалобный пискъ, радуясь, что не слышитъ его и смутно, безотчетно пугаясь этой внезапной желанной тишины...

— Молчить...—робко, какъ бы про себя, замѣтила она, осторожно спуская ребенка на колѣни.—Надо-быть, заснулъ... Спать...

Легкая улыбка, какъ тѣнь, скользнула по ея лицу, и по этой улыбкѣ можно было понять, на



сколько она, дѣйствительно, истомилась душой, устала отъ жалости и горя.

— Покурить бы! — сказалъ Василій. — Да на вѣтру-то пожалуй... Ну-ка, баринъ, шажкомъ.

Онъ соскочилъ на дорогу, пропустилъ телѣгу впередъ и пошелъ сзади, вынимая изъ-за пазухи коротенькую трубку и кисеть съ табакомъ.

— Вишь, проклятый, что дѣлаетъ, — ворчалъ онъ, чиркая одну спичку за другой и тщетно стараясь заслонить огонь своей широкой, грубой ладонью.

— Да ты въ шапку! — звонко крикнулъ Володя и обернулся къ нему лицомъ. — Картузьними!

Онъ натянулъ вожжи и остановилъ лошадь; Василій тоже остановился и, прислонившись къ телѣгѣ, возобновилъ свои неудачныя попытки.

— Ну, что? — съ любопытствомъ освѣдомился мальчикъ.

Василій возился и молчалъ.

— Ладно теперь! — весело откликнулся онъ.

Онъ прыгнулъ въ телѣгу сзади, сѣлъ рядомъ съ Ѳеклушей и, поспѣшно затягиваясь разъ за разомъ, чтобы вѣтеръ не вырвалъ и не унесъ огня, долго глядѣлъ на пестрое ситцевое одѣяльце.

— А не слыхать? — наконецъ спросилъ онъ.

— Надо-быть, спить! — отвѣтила Ѳеклуша, выждавъ легкое затишье, наклонилась надъ ребен-



комъ, осторожно, заботливо откинула край одѣяла и отстранила простынку, которая закрывала крошечное личико.

— Василій!—вдругъ сорвавшимся голосомъ позвала она.—А Василій!

Теперь она уже безъ всякой осторожности тербила одѣяло, трогала пальцами щеки и лобъ ребенка. Вѣтеръ трепаль надъ маленькой головкой конецъ простыни, а навстрѣчу ему спокойно и неподвижно глядѣли полузакрытые вѣками бѣлки закатившихся глазъ.

Володя ничего не видѣлъ и не понялъ, когда за его спиной раздался внезапный вопль Оеклуши и затѣмъ послышалось ея жалобное, монотонное причитаніе.

Мальчикъ быстро обернулся, и тогда онъ увидѣлъ развернутое одѣяло, крошечное, жалкое, но уже спокойное личико ребенка и около шейки—высвободившійся изъ пеленокъ, прозрачный отъ худобы, судорожно-сжатый кулачокъ. Онъ увидѣлъ, какъ Василій медленнымъ движеніемъ затушилъ пальцемъ огонь въ трубкѣ, сунулъ трубку за пазуху, а потомъ снялъ картузь и точно заглядѣлся вдаль, туда, куда поспѣшно и нетерпѣливо рвался вѣтеръ и кула, казалось, вмѣстѣ съ нимъ отлетѣла многострадальная, не знавшая ничего, кромѣ физической муки, жизнь его ребенка.



— Куда жъ теперь?— наконецъ, тихо и хрипло сказалъ онъ.— Держи, баринъ, правѣй, да поворачивай назадъ... Куда ужъ теперь... Нечего...

Онъ самъ быстро придвинулся къ Володѣ, потянулъ правую вожжу и, видимо избѣгая испуганнаго вопросительнаго взгляда мальчика, хмурясь и принимая сердитое выраженіе лица, хлестнулъ лошадь по спинѣ и повернулъ ее обратно.

Опять загремѣли и запрыгали колеса, опять издалека засвистѣлъ вѣтеръ, набѣжалъ и промчался; опять понеслись полосы свѣта и тѣни, то ярко освѣщая зелень, то придавая ей болѣе тусклую и темную окраску. По направленію къ дому лошадь бѣжала охотнѣе, и ея длинный, густой хвостъ, выбившись изъ-подъ оглобли, свободно развѣвался по вѣтру.

Спустились въ балку... Старый больной Голубъ стоялъ на томъ же мѣстѣ, и когда телѣга проѣхала мимо него, онъ проводилъ ее все тѣмъ же задумчивымъ, печальнымъ взглядомъ.

Өеклуша перестала причитать. Она завернула тѣлице въ пестрое одѣяло, прижала его къ груди и теперь сидѣла молча, неподвижно, и нельзя было угадать, думала ли она о ребенкѣ, горевала ли о немъ, или сознавала только возможность отдохнуть, не надрываться душой чужимъ страданіемъ, не томиться безсонными, мучительными ночами.



Еще издали послышался упорный густой шумъ сада, и видно было, какъ деревья кланялись въ сторону дороги, и отдѣльныя вѣтви тревожно метались изъ стороны въ сторону, точно звали кого-то на помощь и боялись и сознавали, что помощь невозможна. И когда Володя проѣзжалъ мимо деревьевъ, ему вспомнился покорный, печальный взглядъ Голубя, который искалъ „затишки“ и ушелъ въ балку укрыть свою старость, свою немощь и свою обиду.

Телѣга прогремѣла по мостику и вѣхала во дворъ. Марина стояла на крыльцѣ дома и вытрясала изъ рѣшета остатки какой-то зелени. Она оглянулась, заслонила глаза рукой отъ солнца и прокричала что-то, чего нельзя было разобрать. Лошадь потянула къ конюшнѣ и, нехотя, медленно подвезла телѣгу къ кухнѣ.

— Что же вернулись-то? — теперь явственно спросила Марина.

Василій выпрыгнулъ на землю и махнулъ рукой. Оеклуша тоже стала вылѣзать, придерживая одной рукой на груди ребенка.

— Али забыли что? — крикнула Марина.

Ей никто не отвѣтилъ, и тогда, поставивъ рѣшето ребромъ на полъ, она медленно спустилась съ лѣстницы и съ обычной улыбкой своего спокойнаго, добродушнаго лица направилась къ телѣгѣ.

— Чего вы? — спросила она.



Оеклуша взглянула на нее и вдругъ закрыла рукавомъ лицо и, точно отдаваясь порыву отчаянія, начала причитать тонкимъ, надрывающимся голосомъ.

Володя отъѣхалъ въ телѣгѣ къ конюшнѣ.

Немного спустя онъ пробѣжалъ въ садъ и спустился къ пруду. Скворцы отчаянно возились и скрипѣли въ вишнякѣ, прудъ переливалъ стальной рябью. Къ берегу откуда-то прибило большой темный кусокъ дерева, и онъ бился, какъ живой, то исчезая подъ набѣжавшей волной, то появляясь вновь на поверхности. Подъ ивнякомъ плавали утки; онѣ спокойно крякали, перевертывались внизъ головой, а вѣтеръ подстерегалъ удобную минуту и поднималъ маленькія свѣтлыя перышки на ихъ широкихъ гладкихъ спинахъ.

Володѣ было скучно. Ему не хотѣлось домой, гдѣ ему нечего было дѣлать, не хотѣлось въ кухню, гдѣ теперь на крыльцѣ Василий сбивалъ изъ досокъ маленькій гробикъ для своего сына. Не хотѣлось ему и въ конюшню, гдѣ уже не было его друга Голубя... Ему вдругъ вспомнилось крошечное, жалкое личико; безсильный, судорожно сжатый кулачокъ, высвободившійся изъ пеленки, и въ ушахъ его прозвучалъ тихій, жалобный крикъ, похожій на мяуканье кошки. Этотъ крикъ точно задушило вѣтромъ, отнесло куда-то далеко-далеко.

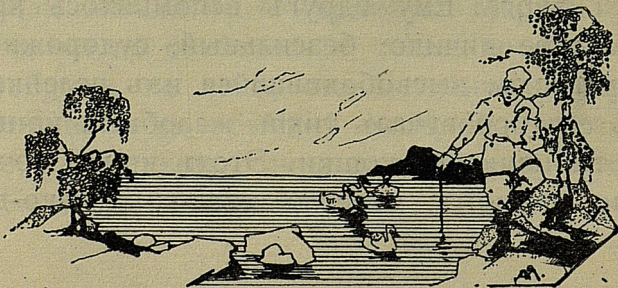


И вдругъ мальчику показалось, что надъ нимъ, въ шумѣ деревьевъ, несутся еще сотни, тысячи такихъ же невнятныхъ жалобъ и стоновъ, несутся непонятыми никѣмъ,—несутся только для того, чтобы найти „затишку“, кануть туда, гдѣ забываются всѣ невзгоды, страданія и обиды земли.

Мальчикъ не могъ объяснить ни своего чувства ни своей мысли. Ему казалось, что у него болить голова, ему казалось, что если бы ему удалось доѣхать до подсолнуховъ, ему не было бы скучно.

Онъ сорвалъ длинный хлыстикъ и сталъ болтать тонкимъ кончикомъ въ водѣ.

А вѣтеръ шумѣлъ и летѣлъ куда-то стремительно и нетерпѣливо, и вмѣстѣ съ нимъ летѣли и гнались другъ за другомъ полосы свѣта и тѣней. И было похоже на то, что надъ землей проносились всѣ радости и всѣ скорби земныя, подхваченныя на пути такъ, какъ облако пыли съ дороги, какъ послѣдній вздохъ ребенка, какъ внятный стукъ молотка, которымъ теперь Василий сбивалъ изъ досокъ маленькій гробикъ своему сыну.







## Мотыкинь

### Предѣлъ

(Повѣсть).

**М**ного лѣтъ тому назадъ хоронили на сельскомъ кладбищѣ солдатку Татьяну. За гробомъ ея, когда несли его изъ церкви на погостъ, бѣжала пятилѣтняя дѣвочка. Она наклонялась, собирала по дорогѣ камешки и съ размаху бросала ихъ передъ собой, стараясь поднять ими какъ можно больше пыли. Ноги въ большихъ башмакахъ съ каблуками путались въ длинной юбкѣ сарафана, ситцевый старый платокъ сползалъ съ головы на лобъ, а изъ-подъ него, сквозь пряди спустившихся бѣловатыхъ волосъ, задорно блестѣли яркіе сѣрые глаза. Это была Мотыка, дочь Татьяны. До этого дня жили онѣ вмѣстѣ по угламъ; Татьяна часто



запивала, пьяная буянила и кричала, а Мотька выпрашивала по дворамъ кусочки хлѣба, запускала комьями земли или снѣгу въ собакъ и прохожихъ, забижала ребятъ.

Она не поняла, что случилось съ матерью, когда та вдругъ вытянулась, захрипѣла, а потомъ мало-по-малу стала застывать. Мотька только испугалась и забилась подъ лавку. Не понимала она и того, что дѣлали съ ея мамкой, когда положили ее въ большой бѣлый гробъ и понесли сперва въ церковь, а потомъ на кладбище. Она плелась сзади по привычкѣ, зная, что это ея мать лежитъ въ бѣломъ гробу. Всего болѣе занимала ее новая ваточная душегрѣйка, которую надѣла на нее сердобольная сосѣдка Арина. Душегрѣйка была кубовая, мелкими красными и желтыми цвѣточками; она была очень велика, спускалась Мотькѣ ниже колѣнъ, а дѣвочкѣ казалось, что она въ своей обновкѣ необычайно хороша и нарядна.

На погостѣ гробъ съ мамкой опустили въ яму, засыпали яму землей, а когда надъ могилой возвысился бугоръ, мужики, засыпавшіе яму, ушли, а Мотька стала перебѣгать черезъ бугоръ. Вся прелесть ея забавы заключалась въ томъ, что башмаки ея съ тяжелыми каблуками увязали въ рыхлой землѣ, ноги часто подвергивались и тогда она взмахивала ручками, закидывала голову назадъ, и



подъ широкою ваточной душегрѣйкой тяжело дышала слабая узкая грудь. Наконецъ Мотька устала; она сѣла на землю, положила голову на бугоръ...

Когда же она проснулась, ей было холодно и сильно хотѣлось ѣсть. Завечерѣвшее небо покрылось тучами, въ сторонѣ отъ кладбища свѣтились маленькіе огоньки деревни.

— Мамка! — позвала Мотя. — Мамка, иди!

Въ отвѣтъ ей шумно захлопала крыльями испуганная птица, поднялась, покружилась и опять сѣла невдалекѣ.

— Мамка! — съ плачемъ позвала Мотя.

Она подождала, чтобы мать откликнулась ей, и вдругъ, словно охваченная ужасомъ, съ дрожью озноба и жути, бросилась бѣжать въ своихъ большихъ башмакахъ по направленію къ тусклымъ огонькамъ деревни.

Съ этого вечера не стало у Моти обезпеченнаго пріюта, готоваго куска хлѣба, опредѣленнаго завтрашняго дня. Строго говоря, положеніе ея мало измѣнилось: еще при жизни матери нерѣдко приходилось дѣвочкѣ засыпать иззябшей, полуголодной; мало того, Татьяна часто била Мотю, били ее и другіе... Но никто, кромѣ матери, не ласкалъ ее, не заботился о ней, не вступался за нее, и къ чувству одиночества у дѣвочки прибавилось еще и другое: чувство звѣрька, окруженнаго опасностями и



надѣленнаго непреодолимымъ инстинктомъ само-сохраненія. Прежде всего звѣрекъ хотѣлъ жить.

Несмотря на то, что изба у Арины была тѣсная и черная, Мотя не пошла на свою старую квартиру, гдѣ было свѣтлѣй и просторнѣй; чутье ли руководило ею, или вліяло впечатлѣніе полученнаго подарка, какъ бы то ни было, Мотя съ кладбища вернулась къ Аринѣ, проспала у нея одну ночь, другую, и мало-по-малу отвоевала себѣ въ ея семьѣ уголокъ потемнѣй и ломоть хлѣба потоньше. Она какъ бы совсѣмъ не тосковала о матери. Предоставленная самой себѣ, она быстро освоилась съ своимъ новымъ положеніемъ, приобрѣла несвойственную дѣтямъ самостоятельность и опредѣленность характера. Наблюдая за этимъ ребенкомъ, можно было заключить, что въ маленькомъ умѣ его ясно сложились два представленія: первое — что жизнь не что иное, какъ борьба, что счастливъ въ ней и правъ только тотъ, кто ловокъ и силенъ. И вотъ всѣ способы, которые могли доставить Мотѣ какую-либо выгоду, она искренно считала пригодными: обижала слабыхъ, часто пускала въ ходъ ложь, хитрость, обманывала и изворачивалась, какъ могла. Когда же болѣе сильные, въ свою очередь, обижали ее, она не возмущалась, считая это въ порядкѣ вещей и плакала только тогда, когда ей причиняли физическую боль. Второе пред-



ставленіе Моти было менѣе ясно и какъ бы противорѣчило первому: это была полная, безропотная покорность судьбѣ; тупая, несознанная вѣра въ предопредѣленіе, полная безпомощности и самоуниженія. Даже зависти не было у Моти. Нищей и запуганной съ колыбели, ей на мысль не приходило сравнивать себя съ другими; она сама какъ бы ставила себя особнякомъ, въ сторонѣ отъ другихъ болѣе счастливыхъ отъ рожденія, и всякая радость и удача для себя представлялись ей не иначе, какъ нечаяннымъ, почти несправедливымъ стяжаніемъ у судьбы. Не знала Мотя и чувства благодарности. Она силой отвоевывала себѣ свое право на существованіе и считала себя обязанной только себѣ самой. Если бы она не нашла себѣ пріюта у Арины, она нашла бы его у другой, у третьей бабы; но семья Арины не гнала сиротку, Мотя не видала причинъ уходить самой и, чувствуя себя полновластною хозяйкой въ своемъ углу, она дразнила и обижала дѣтей Арины, отнимала у нихъ все, чѣмъ могла воспользоваться сама. Чаше всего доставалось Анюткѣ, тихой робкой дѣвчкѣ, двумя годами старше Матрены.

Въ ея рукахъ, какъ и въ рукахъ другихъ сверстницъ, больше всего на свѣтѣ прельщали Мотю тряпичныя куклы. Къ кукламъ у Моти была настоящая страсть. Когда только удавалось ей стащить одну



изъ нихъ, она убѣгала съ нею подальше, забивалась въ уголокъ, и въ эти минуты трудно было узнать въ ней безпутную забіяку Мотьку: вся она затихала, преображалась, глаза ея ласково улыбались, голосъ дѣлался тихимъ и нѣжнымъ. Любовно укладывала она тряпичнаго урода на своихъ рукахъ, прижимала его къ своей узкой грудкѣ и, заботливо убаюкивая его, говорила нараспѣвъ безсвязныя слова, полныя трогательной ласки. Когда Мотю находили и грубо вырывали у нея ея сокровище, она не сопротивлялась; она покорно переносила колотушки и подзатыльники и глазами, еще полными нѣжности, грустно провожала отнятую игрушку.

Одинъ разъ ей чуть было не удалось обзавестись собственной, живою куклой. Она вытащила изъ воды выброшеннаго котенка, притащила его въ свой уголокъ и провозилась съ нимъ цѣлый день, укутывая его въ свой платокъ и согрѣвая собственнымъ дыханіемъ. Она ухитрилась даже раздобыть для своего питомца немного молока. На ночь она уложила его рядомъ съ собою, но котенокъ сталъ ползать и пищать, и Арининъ мужъ выбросилъ его за окно. Мотька не заплакала и не сказала ни слова, но яркіе сѣрые глаза ея, обращенные къ обидчику, выражали на этотъ разъ не грусть, а серьезную, недѣтскую злобу.



Такъ проходило дѣтство Моти. Когда же сиротка выросла и Арина уже начала требовать отъ нея работы наравнѣ съ ея сверстницей Анютой, Мотька искренно и глубоко возмутилась, и между нею и ея приѣмною матерью стали возникать частыя ссоры и столкновенія. Мотька не хотѣла работать. Всякій трудъ претилъ ей, представлялся не иначе, какъ порабощеніемъ. Послѣ cadaго столкновенія съ Ариной она уходила изъ дому, перебѣгала изъ одной избы въ другую и всюду рассказывала о томъ, какъ грубо и жестоко обходятся съ нею въ ея приѣмной семьѣ. Она жаловалась, плакала притворными слезами и радовалась въ душѣ, когда замѣчала, что ее слушаютъ и вѣрятъ ей. Многое еще рассказывала она тогда про Арину и ея семью, а заинтересованныя слушательницы кормили ее, дѣлали ей посильные подарки, оставляли ее ночевать. Въ концѣ-концовъ, Мотя всегда возвращалась къ Аринѣ и съ презрительною насмѣшкой поглядывала на кроткую работающую Анюту.

Нѣсколько разъ случалось Мотѣ захаживать и на господскій дворъ. Туда ее тянуло разъ отъ разу все больше и больше, и въ головѣ ея слагался смѣлый и сложный планъ. Въ одинъ вечеръ она вернулась домой радостная и возбужденная.

— Въ Питеръ ѣду! — хвастливо заявила она Анятѣ и смѣрила ее съ ногъ до головы своимъ блестящимъ, насмѣшливымъ взглядомъ.

Анята не повѣрила.

— Ёду! — повторила Мотя.

— Чего мелешь? — вмѣшалась Арина. — Такихъ-то, какъ ты, въ Питерѣ мало?

— Мало ли, много ли — это ужъ не мое дѣло, — спокойно отвѣтила Мотя. — Барыня Носова меня съ собою беретъ; горничной ёду.

Арина поняла.

— Такъ ты впрямь ёдешь? — переспросила она, и въ голосѣ ея послышались удивленіе и любопытство.

Мотя расхохоталась.

— Охъ, Мотька! — жалобно заговорила Арина. — Не сносить тебѣ головы! Мать твоя, покойница, не тѣмъ будь помянута! непутевая бабенка была. Ей тоже, бывало, все смѣшки да пересмѣшки. Кончила тѣмъ, что, какъ песь какой, въ углу безъ покаянія умерла...

— Слыхала! — оборвала ее Мотя и все съ тою же презрительной насмѣшливостью мотнула головой.

— Анята, — прибавила она, — просись и ты у матери; вмѣстѣ поѣдемъ. Мѣстовъ тамъ про насъ...

— А ты еще чего лучше выдумай! — закричала на Мотю Арина.



Дѣвушка расхохоталась.

— А мнѣ что?— сказала она.— По мнѣ пускай здѣсь хоть въ соху запрягается. Прощайте! ау! Надоѣли Мотыкѣ деревенскіе разносолы... Слушайся, Анютка, мать. Работай. И я бы рада съ вами пожить, потрудиться... Говорится пословица: радъ бы въ рай, да грѣхи не пускають. Кому, значить, какой предѣль...

Мотя уѣхала съ барыней въ городъ. Когда же на слѣдующее лѣто помѣщица вернулась въ свое имѣніе, а Арина пришла въ усадьбу повидать Мотю, ей сказали тамъ, что дѣвушка осталась въ Петербургѣ и что барыня Носова уже давно прогнала ее за лѣность и за дурное поведеніе.

\* \*  
\*

Мотя жила въ Петербургѣ. Послѣ того, какъ Носова прогнала ее, она перемѣнила немало мѣстъ, но такъ какъ вездѣ приходилось работать, то не ужилась она ни на одномъ.

Быстро составила она себѣ кружокъ веселыхъ, пріятныхъ знакомыхъ и въ обществѣ этихъ новыхъ друзей забывала всякія свои неудачи и непріятности. Только въ случаяхъ крайней нужды и въ тѣ дни, которые почему-либо составляли рѣдкіе просвѣты ея жизни, Мотыка искала поденнаго труда, ворочала тяжелую, немудреную работу: стирала,

мыла полы. Отъ непривычки къ труду и еще оттого, что здоровье ея было сильно расшатано бурною и нетрезвою жизнью, всякій чѣстный заработокъ

доставался ей очень трудно: она разнемогалась, въ груди и спинѣ поднималась ноющая боль и тогда, чтобы забыться отъ нея и вознаградить себя за рабочій день, она шла разыскивать своихъ веселыхъ друзей и пропивала съ ними все до послѣдняго гроша. Въ такія минуты рѣдко можно было встрѣтить чело­вѣка веселѣе Мотьки. Она громко пѣла пѣсни, заливалась заразительнымъ хохотомъ, и сѣрые, яркіе глаза ея блестѣли удалью и задоромъ.

Въ дешевыхъ харчевняхъ и кабакахъ встрѣчалась она иногда съ земляками; тѣ рѣдко узнавали ее, приглядываясь къ утомленному, исхудавшему лицу молодой женщины, но Мотька окликала ихъ, называлась сама, и въ голосѣ ея, когда она говорила съ ними, слышались презрительность и хвастливость. Она словно торопилась выставить на видъ всю глубину и безвозвратность своего паденія, и когда тѣ стыдили и урезонивали ее, она грубо хохотала имъ въ лицо.





Настало трудное время, наступили тяжелые неурожайные годы. Не разъ доходили и до Мотьки рассказы о томъ, какъ жилось людямъ по деревнямъ, знала она, что не слаще приходилось и любановцамъ, но жалѣть ихъ и болѣть за нихъ душою ей не приходило въ голову. Она только радовалась за себя, что ушла отъ деревенской жизни, отъ ея нужды и горя.

Собственное положеніе не тяготило ее: не боялась она ни холода ни голода, не боялась болѣзни; страшила ее честная, святая борьба за существованіе, за сухой, черствый кусокъ хлѣба. Нищенство и всѣ ужасы его она понимала только въ соединеніи съ безшабашнымъ загуломъ, съ безобразіемъ почти безпробуднаго пьянства.

— Арина что?—развязно справилась она какъ-то у земляка Егора.

Тотъ только что пріѣхалъ въ городъ изъ Любановки и сидѣлъ въ трактирѣ за чаемъ скучный и озабоченный.

— Что, Арина! Плохо всѣмъ, плохо!—отвѣтилъ Егоръ.

Мотька хотѣла уже по привычкѣ засмѣяться и пустить одну изъ своихъ рѣзкихъ шутокъ, но мальчикъ-подростокъ, который сидѣлъ тутъ же, рядомъ съ Егоромъ, вдругъ громко воскликнулъ и по щекамъ его полились крупныя, частыя слезы.

— О чемъ паренекъ-то? — спросила Мотька, и грубый смѣхъ замеръ у нея на губахъ.

Егоръ, словно нехотя, повернулся къ своему маленькому сосѣду и окинулъ его долгимъ, сострадательнымъ взглядомъ.

— Анну-то помнишь? Анютку-то? Сынокъ это ейный. Умерла Анна-то.

— Анютка умерла? — удивилась Мотя.

— Скончалась! — торжественно подтвердилъ Егоръ.

— Больна, что ли, была?

— Животомъ, говорятъ. Отъ пищи-то нашей много теперь народу погибаетъ.

Мальчикъ продолжалъ плакать.

— Паря! — съ привычнымъ смѣхомъ крикнула ему Мотька. — Отписывай своимъ, чтобы сюда приѣзжали. Мотька, моль, зоветь. Мотька хлѣбъ-соль помнить! У Мотьки на всѣхъ угощенія хватить.

Она хвастливо дернула головою, подбросила на ладони нѣсколько мѣдныхъ монетъ и расхохоталась.

— Охъ, что терпитъ народъ, что терпитъ! — тихо, какъ бы про себя, продолжалъ землякъ. — Разорились всѣ. Шайкиныхъ на что богатая семья была — послѣднюю корову свели. Не узнать бы тебѣ Любановки!



— Отписывай, паря, отписывай! Сюда чтобы ѣхали... — съ безсмысленнымъ смѣхомъ повторяла Мотька, а мальчикъ плакалъ, вздрагивая худенькими плечиками, всхлипывая и утираясь рукавомъ старенькаго тулупчика.

Егоръ еще долго говорилъ о деревенскихъ невзгодахъ, называлъ тѣхъ, кто умеръ, и тѣхъ, кто разорился. Голосъ его былъ спокоенъ и ровенъ, глаза тупо смотрѣли передъ собою и, казалось, ясно видѣли всѣхъ, о комъ болѣла его душа, кого оставилъ онъ гдѣ-то далеко, въ нуждѣ и горѣ.

Егоръ говорилъ только для себя, но по лицу мальчика видно было, что тотъ слушаетъ его, ловить каждое слово знакомаго, жуткаго, сердцемъ пережитаго повѣствованія.

Мотька не слушала.

Выпитая водка не опьянила, а только разморила ее; она пожималась отъ озноба и отъ лихорадочной ломоты во всемъ тѣлѣ. Неумѣстный смѣхъ то и дѣло по привычкѣ раздвигалъ ея запекшіяся губы, а на сердцѣ щемило не то отъ недомоганія, не то отъ слезъ мальчика, не то отъ однообразнаго, унылаго голоса земляка.

Она вдругъ прервала его:

— Выпьемъ, что ли?—спросила она.

Мальчикъ сердито вскинулъ на нее заплаканными глазами, Егоръ только махнулъ рукой и про-

должалъ говорить. Мотька съежилась и затихла. Взглядъ ее остановился на мальчикѣ и вдругъ, незамѣтно для нея самой, лицо Мотьки приняло то выраженіе робкой ласковости и жалостливости, которое бывало у нея въ дѣтствѣ, когда она, украдкой, баюкала чужихъ тряпичныхъ куколъ.

— А какъ звать-то мальчонку?— нерѣшительно спросила она.

Увлеченный собственнымъ рассказомъ, Егоръ понялъ не сразу.

— Митрофаномъ зовуть. Итти, что ли, Митрошъ? Идемъ!

Егоръ съ мальчишкой стали уходить, а Мотька съ трудомъ поднялась, подошла къ мальчику и, стараясь приласкать его, провела рукой по его волосамъ и опять грубо и рѣзко захохотала.

\* \*  
\*

Время подходило къ веснѣ. Мотькѣ недужилось и отъ слабости у нея сильно болѣли и тряслись колѣни. Она зашла къ знакомой кухаркѣ, сѣла на плоскій сундукъ недалеко отъ плиты и, наслаждаясь тепломъ, которое разливалось по всему ея больному тѣлу, она разнѣжилась и притихла.

— Что, Матрена? Аль плохо?— спросила кухарка.



— Ништо!—быстро отозвалась Мотька, пытаюсь принять бойкій и беззаботный видъ. — Что мнѣ дѣлается!

— Охъ, Матрена! — нараспѣвъ заговорила кухарка. — Смотрю я на тебя... И какъ ты умирать будешь?

Мотька вздрогнула.

— А зачѣмъ умирать?—съ дѣланымъ смѣхомъ спросила она.—Жить будемъ...

— Два вѣка не проживешь, а тебѣ съ твоимъ здоровьемъ, да при жизни такой...

— Ишь, я здоровая! — быстро отвѣтила Мотя, но сердце ея словно оборвалось и сжалось отъ страха.

— Ну, какое твое здоровье!—недовѣрчиво протянула кухарка.—А я къ тому, что пора бы тебѣ опомниться, за умъ взяться. Намедни у насъ тутъ въ четвертомъ номерѣ барыня умерла. Ужъ такъ-то страшно, такъ страшно, говорятъ, помирала!.. Господь... имъ что? Господамъ жизнь легкая; гдѣ имъ столько нагрѣшить, какъ нашему-то брату? А умирать, видно, тоже нелегко! Охъ, гдѣ ужъ легко! Праведники развѣ какіе, ужъ такіе праведники...

Кухарку позвали изъ комнату; она заторопилась, вытерла руки о фартукъ и спустила на ходу засученные рукава.

Мотька не двинулась. Лицо у нея было жалкое, испуганное, глаза быстро бѣгали по сторонамъ.

— Умирать!.. — повторяла про себя Мотька. — Умирать...

И не мысль, а цѣлый рядъ отрывочныхъ ощущеній: недоумѣнія, страха, ужаса и невыносимой жалости къ себѣ всколыхнули ея душу. Умирать? Рано... Если бы посчитать, ей бы больше тридцати лѣтъ не набралось. Зачѣмъ же умирать? Здѣсь, на землѣ, она освоилась, приспособилась ко всему. За всю свою жизнь короткую, правда, но тяжелую и бурную, чего не натерпѣлась она? Чѣмъ бы еще могла пригрозить ей судьба? Судь людей, ихъ презрѣніе къ ней, всѣ обиды свои она побѣждала слишкомъ легко. Что могли люди сдѣлать съ нею? Отнимать у нея было нечего: у нея не было ничего. Но смерть!.. Смерть... Это нѣчто невѣдомое, таинственное, чудовищное и жестокое... Оно коснется не одного тѣла ея, оно коснется души; а Мотька боялась думать о своей душѣ. И развѣ была у Мотьки душа?

Она широко раскрыла свои сѣрые глаза, полные ужаса, и когда рѣзкій приступъ кашля словно разорвалъ что-то внутри ея груди, она съ необычайной нѣжностью и жалостью прислушалась къ собственной боли, радуясь тому, что тѣло ея еще способно чувствовать и страдать. Только бы жить!



Только бы дольше, какъ можно дольше таить въ хиломъ тѣлѣ эту душу, которой смерти не суждено, — эту Божью душу, которую омрачила и осквернила она. И развѣ она могла не осквернить? Она, сроду зрящая, безпутная Мотька!

Не было у Мотьки мыслей, не было вопросовъ, сомнѣній; было одно угнетающее сознание своей скверны, своего ничтожества и вины передъ кѣмъ-то; былъ страхъ и желаніе бѣжать, укрыться... Она встала на свои ослабѣвшія ноги и стремительно бросилась сперва на лѣстницу, потомъ на улицу черезъ калитку воротъ.

Дворникъ съ лопатой въ рукахъ стоялъ на тротуарѣ и бесѣдовалъ съ Егоромъ.

— Все бы такъ, — говорилъ Егоръ, — да вотъ съ мальчонкомъ не знаю, какъ быть.

Онъ увидалъ Мотю, узналъ ее и разсѣяннотронулся пальцами до ея протянутой къ нему холодной руки.

Мотька закуталась въ большой дырявый платокъ и не зная еще, куда дѣвать себя, остановилась на тротуарѣ рядомъ съ Егоромъ.

— Чай-то пилъ? — спросила она его.

Онъ разсѣяннотпоглядѣлъ въ ея сторону и, не отвѣчая ей, продолжалъ свой разговоръ съ дворникомъ.

— Съ собой его не возьмешь, а тутъ тоже оставить не на кого.

— Аль собираешься куда?—спросила Мотя.

Егоръ отвѣтилъ:

— Тутъ... подь городомъ... работу хотѣлъ взять.

— Митрошку-то что жъ не берешь?

— Захворалъ Митроша-то.

— Захворалъ,—протянула Мотя.

Егоръ замолчалъ, пожевалъ губами и задумался, а дворникъ сошелъ съ тротуара и сталъ складывать лопатой въ одну кучу талый свѣтъ, перемѣшанный съ грязью.

— Только всего, что въ больницу свезти,—посоветовалъ онъ, прерывая на минуту свое занятіе.—Вотъ она у насъ тутъ на углу.

Дворникъ указалъ на больницу рукой, а Егоръ долго глядѣлъ по его указанію и молчалъ.

— Нѣтъ, что жъ...—наконецъ сказалъ онъ.—Не тово... Жалко парнишку-то: въ конецъ затоскуется. Отлежится, Богъ дастъ, и на фатерѣ.

— А самъ-то какъ же?—замѣтилъ дворникъ.

— Какъ? Не сподручно, значить... Будетъ работа, съ голоду не помремъ. Парнишку-то жалъ. По своему мѣсту, да по своимъ шибко сучааетъ. Птенецъ еще!

— Что и говорить! Жалъ,—согласился дворникъ.—Я въ больницѣ лежалъ, такъ тоже не



сладко. Говорять хорошо, а гдѣ ужъ хорошо!  
Плохо.

— Вотъ то-то.

Мотья слушала.

— На фатерѣ живешь?—спросила она.

— На фатерѣ.

— По Шестой улицѣ?

— По Седьмой.

Онъ сказалъ свой адресъ:

— Ну, знаю, знаю!—обрадовалась Мотья.

Егоръ постоялъ еще, подумалъ, посмотрѣлъ, какъ быстро росла подъ лопатой дворника жидковатая грязная куча, а потомъ приподнялъ немного свою шапку и медленно зашагалъ по тротуару.

— Заходи, — сказалъ ему вслѣдъ дворникъ.

— Зайду, — отвѣтилъ онъ.

Мотья поплелась въ другую сторону. Отвлеченная отъ своихъ тяжелыхъ впечатлѣній встрѣчею и разговоромъ съ землякомъ, она опять теперь почувствовала тоску, боль, желаніе забыться. Она опустила руку въ карманъ, нащупала въ немъ нѣсколько мѣдныхъ монетъ и съ внезапной радостью повернула въ дверь подъ красную вывѣску.

\* \*  
\*

Мотья забѣжала къ Егору попросить у него пятакъ взаймы.

Егора не было дома. Митроша лежалъ на кровати въ углу около окна и глядѣлъ на небо большими печальными глазами.

— Не поправляешься?—спросила его Мотя.

— Нѣ...—коротко отвѣтилъ онъ.

Она хотѣла уже уйти, но тутъ какъ-то вдругъ вспомнилось ей, что Анна умерла, что у Митроши нѣтъ матери, и знакомое ей, робкое, жалостливое чувство закралось ей въ душу. Она подошла къ мальчику, наклонилась и приблизила къ нему свое изможденное, улыбающееся лицо. Онъ отстранился, и въ глазахъ его опять промелькнули гнѣвъ и брезгливость.

— Зачѣмъ пьешь?—строго спросилъ онъ.

Мотька засмѣялась.

— А что жъ еще дѣлать-то?—заговорила она.— Ишь, мамка твоя не пила, да голодной смертью, говорятъ, померла.

Мальчикъ вздрогнулъ.

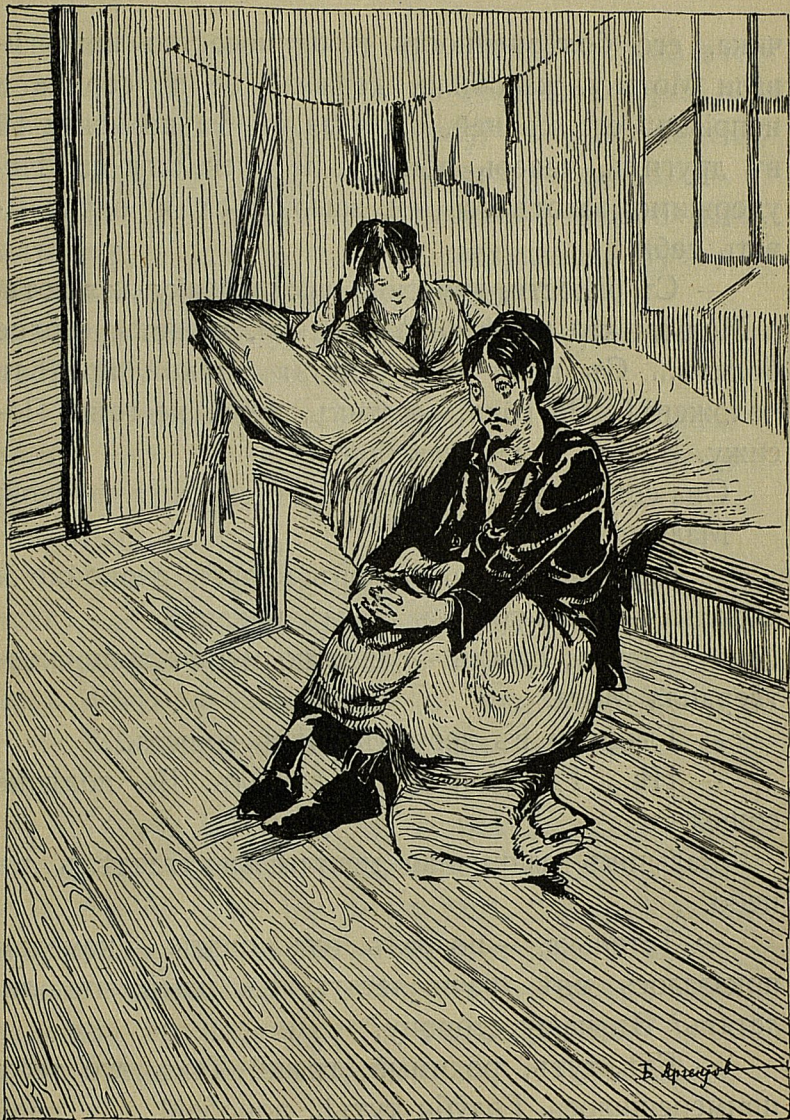
— Уйди!—сердито сказалъ онъ.

Но Мотька не ушла.

— Чего пью, говоришь? А вотъ ножки у меня болятъ, грудь ломить, въ голову вступаетъ!.. Эхъ, болѣзнь, какъ Мотькѣ не пить!

Она усѣлась на полъ, рядомъ съ кроватью мальчика, протянула свои ноги въ худыхъ башмакахъ безъ чулокъ и опустила голову. Сиротство маль-





Б. Арсеньев



чика, его болѣзненность и одиночество притягивали Мотьку, жалобили, держали ее за сердце и неприязнь его къ ней, обычная, почти понятная ей въ другихъ, теперь обидѣла и опечалила ее. Неудержимо захотѣлось ей жаловаться и оправдывать себя.

— Съ радости, думаешь, пью? Собаку жалѣютъ, а Мотьку кто жалѣлъ? У Мотьки, можетъ, сердце болить... Съ роду мнѣ, значить, такой предѣлъ положень!.. Не гони, касатикъ, меня, не гони. Посажу. Болѣю я вся; вся болѣю!

Она сокрушенно вздохнула и покрутила головой. Мальчикъ молчалъ.

— Тетенька,—позвалъ онъ вдругъ спокойно и ласково,—снѣгъ-то ужъ стаялъ никакъ?

— Стаялъ, стаялъ!—радостно и поспѣшно подтвердила Мотя.

— Гляди, и въ деревнѣ снѣгъ сошелъ.

— Нѣ... Гдѣ сойти! Не сошелъ. Въ полѣ не сошелъ.

Мальчикъ задумчиво-мечтательно глядѣлъ въ небо.

— Тетенька, — позвалъ онъ опять, — намедни показалось мнѣ грачи летять. Къ намъ, что ли, летять? Въ нашу сторону?

— Гдѣ тутъ, родимый, грачи! Такъ это тебѣ примерещилось. Голуби тутъ!.. воробей!..



— Ишь, грачи! Видѣль, летять, — оживленно возразилъ мальчикъ.—Будуть теперь въ березовкѣ гнѣзда завивать. Гаму-то! Крику!—онъ мечтательно улыбнулся, и блѣдное личико его порозовѣло.

— Скучно здѣсь!—съ внезапной тоской добавилъ онъ, вытянувъ впередъ исхудавшія ручки, и большіе глаза его налились слезами.

Мотька сидѣла согнувшись, съ опущенной головой. Оба долго молчали.

— Думается мнѣ...—началь опять мальчикъ, и голосъ его дрогнулъ и зазвенѣлъ, — думается... Катька-то жива ли?

Мотька молчала.

— Не знаешь ты Катьку-то? Махонькая она, глупая, не понимаетъ... Мягкаго хлѣбца просить, молочка... Мамку зоветь,—шопотомъ добавилъ онъ.—Жива ли еще, думается? Тетенька! А?

— Жива, Богъ дастъ. Что жъ?..—успокоила его Мотя.

— Тятка со мной ее отпускаль, дядя Егоръ не взяль. Плакаль тятка-то: „съ глазъ бы, говорить, долой; душу бы не тянула“. Еще что тятка говорилъ: „люди, молъ, не видять, такъ и жалости у нихъ нѣтъ. Сытыхъ, говорить, въ городѣ много, не дадутъ же ребеночку съ голоду изойти“.

— Правда, тетенька, что въ городѣ сытыхъ много?

— И-и, касатикъ, много! Ишь, дома-то все какіе — большіе, каменные; чьи же нибудь — дома-то. Какъ же сытымъ людямъ не быть?

Мальчикъ задумался.

— Тетенька, миленькая, — голосомъ полнымъ мольбы заговорилъ онъ, оживляясь и волнуясь, — можетъ, правда, кто пожалѣлъ бы, какъ рассказать? Сытые, говоришь... Что жъ... Катюшка-то? Много ли надо-то ей? Тетенька, миленькая!

Онъ приподнялся на постели, повернулся къ ней лицомъ, и крупныя слезы побѣжали по его щекамъ.

Мотька встрепенулась.

— Тетенька, миленькая! Жалко... Я бы попросилъ у кого... Такъ бы въ ноги упалъ, плакать бы сталъ. Вдругъ послушали бы, не разсердились... Много ли надо-то! — волненіе утомило его, личико поблѣднѣло, и онъ опять опустился на подушку.

— Нѣтъ... гдѣ жъ! Развѣ нужно кому! — съ безнадежной покорностью прошепталъ онъ. — Катька-то наша... Кому она нужна?

Митроша замолчалъ и тихо лежалъ блѣдный съ закрытыми глазами.

Мотька спокойно перебирала пальцами кромку своего грязнаго фартука, потомъ она приподнялась на колѣни и облокотилась о край Митрошиной постели.



— Ты, знаешь, тово... Ты не убивайся,—быстро зашептала она, стараясь приласкать мальчика своею сухою корявою ладонью.—Только вставалъ бы скорѣй, поправлялся бы. Кому же какая обида, что ты за сиротинку просить станешь? А кому обидно, тотъ не дастъ, другіе дадутъ. Вызволимъ Катьку, прокормимъ. Думаешь, Мотька не чувствуетъ, не понимаетъ? Хочешь, за Катьку просить стану? Хочешь, съ рукой пойду?

Она словно входила въ экстазъ: глаза ея расширились, лицо просвѣтлѣло.

— А ты меня не гони. Что жъ, что пью? Развѣ я зло кому дѣлаю? Безъ вина-то, знаешь, душа... душа во мнѣ вопить! Вѣдь и во мнѣ живая душа-то есть... Не станешь гнать? Я приходитъ къ тебѣ стану; денегъ добуду—денегъ тебѣ принесу. Вызволимъ Катьку, гостинцевъ ей пошлемъ... всего пошлемъ.

Митроша открылъ глаза. Взглядъ его, сперва удивленный, недовѣрчивый, становился все свѣтлѣй и открытѣй.

— Откуда денегъ добудешь?—пытливо освѣдомился онъ.

— Работать буду; у людей выпрошу.

Онъ все еще недовѣрчиво качалъ головой.

— А запьешь?—шепнулъ онъ и тутъ же съ мольбой и тревогой глянулъ ей въ глаза.

Мотька встрепенулась.

— Кто запьетъ? Я? Да ни въ жизнь! Да живой мнѣ не быть, если въ ротъ возьму.

Митроша вздохнулъ. Точно успокоенная, облегченная отъ громадной тяжести, высоко поднялась его грудь, глаза смѣшливо заискрились и, глядя другъ другу въ лицо, женщина и ребенокъ залились тихимъ, радостнымъ смѣхомъ.

Мотька стала часто забѣгать на квартиру Егора. Когда того не было, она садилась на свое обычное мѣсто — на полъ у кровати мальчика, протягивала ноги и медленно, съ видимымъ наслажденіемъ выбирала изъ кармана одну монетку за другой. Митроша свѣшивалъ къ ней свою бѣлобрысую голову. Перебиваясь и путаясь, нѣсколько разъ подъ рядъ пересчитывали они свои богатства, мальчикъ радостно вздыхалъ, а Мотька глядѣла на него ласковыми, преданными глазами и улыбалась. Насчитавшись, они бережно увязывали свое сокровище въ узелокъ, и Митроша упрятывалъ его подъ свою подушку. Тогда друзья начинали бесѣдовать.

— Сонъ мнѣ сегодня приснился, — мечтательно говорилъ Митроша. — Вижу это, будто иду я, иду, по сугробамъ иду, въ снѣгу по колѣни вязну. Иду, а впереди наша Любановка чернѣется. Никакъ мнѣ до нея не дойти! Изъ силъ просто выбился, а



Любановка наша все не ближе. Думается мнѣ, тетенька, никогда мнѣ больше тамъ не бывать!

— Живы будемъ, вездѣ побываемъ! — увѣренно говорила Мотя.

Но мальчикъ грустно качалъ головой.

— А сонъ-то къ чему такой? Скучно мнѣ, тетенька, до смерти скучно!

— А ты не скучай! — наставительно увѣщавала Мотя. — Оттого и не поправляешься, что шибко скучаешь.

— Я, тетенька, здѣсь не поправлюсь... Я, тетенька, умру...

Мотья испуганно махала руками.

— И съ чего это ты? Съ чего? Развѣ можно смерть накликать? А если такъ ужъ немоготу тебѣ, долго намъ съ тобой въ Любановку махнуть?

— Ну! намъ-то? — съ робкой надеждой возражалъ мальчикъ.

— И очень просто! — храбро увѣряла Мотья. — Дай только вотъ побольше деньжонокъ набрать. По чугункѣ поѣдемъ, гостинцевъ и всего-всего увеземъ. Вотъ Егоръ-то пустить ли?

— Этотъ пустить! — оживленно подхватывалъ мальчикъ.

— А пустить, такъ и разговору никакого быть не можетъ. Одному тебѣ теперь нельзя, ишь ты плохонькій какой да хворенькій, муха тебя кры-

ломъ перешибеть! Я тебя доставлю, это будь спокоенъ. По чугунокъ мы даромъ проѣдемъ—это мнѣ все хорошо извѣстно...

— Съ чугунки-то далеко! Вдругъ не дойду?— сомнѣвался мальчикъ.

— На рукахъ понесу, — сейчасъ же находила выходъ Мотя, — гдѣ на рукахъ, а гдѣ самъ. А то, гляди, подвезетъ кто-нибудь.

Митроша жадно слушалъ, и глаза его сіяли.

— Когда же, тетенька? — съ радостнымъ замираніемъ сердца спрашивалъ онъ.

— А вотъ, подожди... Скоро теперь... скоро!

Мальчикъ умолкалъ. Усталымъ, безсильнымъ движеніемъ откидывалъ онъ на подушку свою голову; глаза мечтательно глядѣли въ небо, но взгляды ихъ быстро тускнѣлъ, вѣки опускались...

Мотыка начинала собираться домой.

— Тетенька! — не открывая глазъ, подзывалъ ее Митроша.

— Ну, что, что? Спи теперь, мнѣ пора.

— Тетенька! — шепталъ мальчикъ. — Смотри... смотри не запей!

Въ другіе раза обсуждались гостинцы.

— Еще Каткѣ колачъ, — говорилъ Митроша.

— А сайку хотѣлъ? — быстро возражала Мотя.

— Аль сайку? — соображалъ мальчикъ. — Сайка съ изюмомъ.



И онъ мечтательно водилъ по сторонамъ своими большими, задумчивыми глазами.

— Ахъ, скорѣй бы, скорѣй! — съ внезапнымъ порывомъ восклицалъ онъ и судорожно сжималъ одну въ другой свои тоненькія исхудавшія ручки.

Иногда Мотя засиживалась, и Егоръ возвращался при ней. Она непривычно съезживалась и робѣла.

— Не поправляешься? — неизмѣнно спрашивалъ Егоръ мальчика.

— Получше мнѣ, — отвѣчалъ Митроша.

— Получше, а все не встаешь?

— Скоро встану.

— Матрена-то тутъ чего? — справлялся Егоръ, кидая на землячку быстрый, не особенно дружжелюбный взглядъ.

— Уйду я сейчасъ... уйду! — торопливо говорила Мотя.

Блѣдное личико Митроши вспыхивало нѣжнымъ румянцемъ.

— Ко мнѣ она. Чего гонишь? — возбужденно вступался онъ за своего друга.

— Да не гоню. Пусть ее, пусть! — съ презрительнымъ снисхожденіемъ отзывался Егоръ. — Въ теплѣ посидить, погрѣется.

Мотья сконфуженно пятилась къ двери и уходила.



Изо дня въ день становился Митроша все худѣй и слабѣй. Егоръ уходилъ на работу съ раннего утра, а мальчикъ оставался одинъ. Онъ лежалъ на своей постелькѣ, думалъ о чемъ-то и глядѣлъ въ окно на клочокъ далекаго неба. Иногда это весеннее небо было свѣтло, лазурно, иногда оно темнѣло, играло дымчатыми переливами облаковъ. Митроша долго смотрѣлъ на него, потомъ закрывалъ глаза и тогда тѣ же облака, проплывая, принимали для него знакомые, желанные образы, уносили съ собою, шептали ему непонятныя, но чарующія рѣчи. Онъ уже не тосковалъ; онъ жилъ лихорадочно и смутно, изрѣдка и не вполне возвращаясь къ дѣйствительности, которая переиживалась для него съ мечтами, пополнялась фантастическими образами и явленіями. Иногда странность того или другого видѣнія поражала и его.

— Развѣ мертвые ходятъ? — спрашивалъ онъ, обращаясь къ Мотѣ.

Мотышка пугалась и пятилась отъ него, махая руками.

— Да ходятъ. Я знаю, я видалъ, — спокойно подтверждалъ мальчикъ, не понимая ея испуга.

— Катки нѣтъ. Катка умерла, — сказалъ онъ ей въ другой разъ.

— Кто говорилъ? Отъ кого слышалъ-то? — встрепенулась Мотя.



Митроша поглядѣлъ на нее длиннымъ, недоумѣвающимъ взглядомъ и отвернулся.

Приношенія Мотьки уже не радовали его.

— Спрячь, — говорилъ онъ ей холодно и равнодушно. — Сунь мнѣ подъ подушку... Подальше.

Она совала. И говорила ему, и вѣрила сама, что еще немного, нѣсколько дней, и оба они, она и Митроша, поѣдутъ въ Любановку, и она донесетъ его, дотащитъ на своихъ рукахъ.

— Весна теперь, тепло... Травка зеленая... Оживешь ты у меня, поправишься, тоску твою, хворь всякую какъ рукой сниметъ.

— Скорѣй, скорѣй.. — шепталъ Митроша, и изъ-подъ опущенныхъ вѣкъ покатались слезы.

— Будешь у меня молодцомъ, красавчикомъ, отцу помощникомъ, Катюшкѣ своей кормильцемъ-поильцемъ, — съ упованіемъ, нараспѣвъ говорила Мотя.

— Тетенька! — громко вскрикивалъ мальчикъ, какъ бы пробуждаясь. — Родная моя! Скорѣй, скорѣй!

Онъ повернулъ къ ней глаза, полные тоски и муки.

— Скоро теперь, да, да... — успокоивала она.

Онъ уже опять глядѣлъ на нее удивленнымъ недоумѣвающимъ взглядомъ.

— Все равно! — съ глубокимъ вздохомъ говорилъ онъ.



Мотья бросила пить. Она работала сколько могла, напрягая свои небольшія силы и сберегая каждый грошъ, чтобы увеличить имъ сокровище своего маленькаго друга. Она ободрилась какъ-то, повеселѣла и съ виду стала казаться здоровѣй и красивѣй. Общества прежнихъ знакомыхъ она избѣгала и при встрѣчахъ съ ними терялась и робѣла, какъ виноватая.

Никому не повѣряла она своихъ надеждъ и ожиданій и, казалось, таилась отъ себя столько же, сколько и отъ людей. Собственно, надеждъ и ожиданій у нея не было никакихъ. Отдаваясь своему новому чувству, она дѣйствовала и говорила порывомъ, какъ бы по вдохновенію: она не задавала себѣ ни задачъ ни вопросовъ; она не размышляла, не анализировала. Среди мрака и холода, окружавшаго ее, она вдругъ какъ бы почувствовала на себѣ тепло, свѣтъ, ласку... И умилилась, и разнѣжилась, и почувствовала въ себѣ приливъ небывалыхъ силъ. Забота о мальчикѣ поглотила ее всю, не оставляя мѣста для личныхъ расчетовъ. Единственной потребностью ея становилось видѣть Митрошу и отдыхать въ разговорахъ съ нимъ.

Одинъ разъ Мотья застала мальчика спящимъ. Она подошла къ нему, но онъ, противъ обыкновенія, не открылъ глазъ.



— Митрошъ?— тихо окликнула его Мотя.

Она постояла надъ нимъ, посмотрѣла, потомъ сѣла на полъ и прислонилась головой къ краю его подушки.

„Спитъ“, думала она и съ тѣмъ свѣтлымъ чувствомъ радости и покоя, которое Мотя испытывала только здѣсь, она вздохнула полной грудью, далеко, отдыхая, вытянула ноги и тоже закрыла глаза. Съ ранняго утра она была на ногахъ, сильно утомилась и по спинѣ ея и по всему тѣлу пробѣгала теперь легкая дрожь озноба.

Она задремала.

Когда Мотя проснулась, въ комнатѣ было почти темно. Около Моти стояла хозяйка квартиры, держала въ рукахъ маленькую лампу и свѣтила ей прямо въ лицо. Митроша спалъ.

— Господи Іисусе! Заспалась-то какъ!— спохватилась Мотя и вскочила на ноги.

— Егоръ-то чего сегодня провалился?— сердито сказала хозяйка.— Не померъ бы безъ него.

— Кто?— невольно вскрикнула Мотька и тутъ же почувствовала, какъ въ груди ея, а потомъ во всемъ ея тѣлѣ что-то забилося и задрожало.

— Кто? Не ты и не я. Мальчишка, вишь, помираетъ.

Мотька растерянно поглядѣла на хозяйку.

— Спитъ онъ,—робко, съ мольбой возразила она.

— Спать! — сердито передразнила ее та. — Говорила — въ больницу свезти надо.

Мотька дрожала. Челюсти ее громко стучали, а глаза жаднымъ, просящимъ взглядомъ впивались въ лицо Митроши.

— Митрошъ! — позвала она. — Митрошъ!

Хозяйка махнула рукой, поставила лампу на столъ и вышла. Мотька низко наклонилась надъ мальчикомъ.

— Митрошъ! Это я, Мотька... Не помирай, смотри... Слышь? Хочешь, завтра въ Любановку-то поѣдемъ? Завтра? Ась?

Она прислушалась и услышала его слабое, неровное дыханіе.

— Митрошъ! А Катьку-то... Что жъ, Катьку-то... забылъ?

Отчаяніе вдругъ охватило ее. Она всплеснула руками, метнулась сперва въ одну сторону, потомъ въ другую и, не зная, за что приняться, охватила руками свою голову и застонала.

Ее опять потянуло къ мальчику.

— Митроша, — еще надѣясь и умоляя, тихо позвала она, — а ты... ты перемогись. Ну, чего? Самъ разсуди... Что жъ теперь будетъ-то?

Но она уже поняла, что́ будетъ. Въ чертахъ мальчика, въ необычайномъ выраженіи его лица, трепетномъ, ищущемъ, мечущемся выраженіи, она



вдругъ почувяла близость страшной развязки, и настроеніе ея рѣзко измѣнилось. Ни нѣжности, ни жалости, ни отчаянія не стало въ ней. Она выпрямилась и смотрѣла на умирающаго глазами, полными ужаса. Оторваться отъ него взглядомъ она не могла. И почему-то передъ его постепенно прояснявшимся, просвѣтляющимся личикомъ, передъ кроткимъ успокоеніемъ, которое словно разливалось въ его чертахъ, она вдругъ почувствовала себя отчужденной, отверженной. Показалось ей, что закрытые глаза ребенка видятъ ее теперь всю насквозь, глядятъ въ ея темную душу. Одинъ только онъ, Митроша, думалъ, что можно еще любить ее, Мотьку безпутную; можно довѣриться ей и вотъ теперь узналъ, увидѣлъ ее такой, какой она есть. Онъ еще жилъ, но всякая связь ея съ нимъ порвалась: онъ уходилъ спокойный, радостный, она оставалась...

Думать Мотька не умѣла. Свойственнымъ ей порывомъ чувствъ ощутила она свое ничтожество, свою грѣховность, мракъ и одиночество своего существованія. Чтò могла она значить теперь для него? И эти жалкіе гроши, которые приносила она ему одинъ за однимъ, которыми гордилась, которымъ радовалась? И вдругъ голову ея осѣнила мысль. Хищнымъ, крадущимся движеніемъ подвинулась она къ Митрошѣ, нагнулась надъ нимъ, су-



нула руку подъ его подушку и стала шарить. Не сразу нащупала она связку съ деньгами; пальцы ея почему-то судорожно подпрыгивали, блѣдное лицо съ жадными глазами слишкомъ близко наклонялось надъ лицомъ умирающаго. Неожиданно мальчикъ открылъ глаза, глянулъ на нее страннымъ взглядомъ и по губамъ его, показалось Мотѣ, пробѣжала едва уловимая дрожь. Мотька крѣпко сжала въ рукѣ узелокъ и скользнула въ дверь мимо Егора.

\* \*  
\*

— Бога бы побоялась, людей постыдилась бы, — говорила опять знакомая Мотѣ кухарка, управляясь около своей плиты. — Глупость это одна, баловство твое! Руки у тебя золотыя, какъ работать захочешь. Думала я, дѣвка вовсе за умъ взялась, такъ вотъ нѣ жъ тебѣ!.. Глупость-то какая! И съ чего тебя прорвало опять? Ну, съ чего прорвало?

Мотька сидѣла на сундучкѣ около столика. Она не была пьяна, но видно было по ней, что она пила и пила много. Губы ея дрожали, и плечи поводило отъ лихорадочнаго озноба.

— Анисьюшка, — умоляющимъ голосомъ сказала она, — ты бы мнѣ стаканчикъ...

— Да ты въ умѣ? — возмутилась кухарка. — Подносить я ей стану! Мало ты себѣ еще глаза





Б. Арсенов.



налила? — она гнѣвно двинула одной кастрюлей о другую.

Мотька испугалась, съежилась и притихла.

— А что же Егоръ теперь? — успокоившись, заговорила Анисья. — Уѣхаль онъ или тутъ еще?

Мотя не отвѣчала.

— Егоръ-то уѣхаль, что ли? — повторила свой вопросъ кухарка.

Мотька, казалось, не слыхала; она сидѣла вытянувъ шею и тупо, бессмысленно глядѣла передъ собой.

— Завтра поѣдемъ, завтра... — шептала она. — На рукахъ донесу. Хворенькій, маленькій...

Кухарка испуганно обернулась.

— Мотька! — крикнула она. — Матрена, ты чего же наяву-то бредишь?

Мотя вздрогнула.

— Нѣтъ, ты отсюда уходи-ка, уходи... — разсердилась Анисья. — Еще неравно барыня въ кухню выйдетъ. Срамница ты! Пьяница!

— Анисьюшка! — прежнимъ умоляющимъ голосомъ позвала Мотя. — Анисьюшка!

— Нечего тутъ! нечего! иди!

Мотя встала и быстро схватилась руками за столъ.

— Развѣ я отъ себя! — тихо сказала она. — Господи!



— Отъ кого же? — съ легкой ироніей бросила ей кухарка.

— Всякому человѣку... всякому... предѣль...

— Это пьянствовать-то? Это безобразить-то? — заволновалась опять Анисья. — Нашла тоже сказать что: предѣль! Мужичкое это ваше, глупое понятіе. Какъ есть мы люди, такъ все отъ насъ, отъ людей...

— Люди! — съ внезапнымъ порывомъ подхватила Мотя. — Отъ людей?

Она выпрямилась, глаза ея блеснули злобой.

Но она быстро успокоилась. Ни злобы ни гнѣва не стало, и вся фигура ея, лицо, приняли прежнее выраженіе покорной, безропотной тоски.

— Всякому человѣку... предѣль. А что пью, такъ вѣдь отчего пью? — терпѣть надо.

Она опустила на прежнее мѣсто, и глаза ея опять тупо и бессмысленно уставились передъ собой. Анисья невнятно ворчала, управляясь съ своими кастрюлями.

— Митрошъ, — минуту спустя, ласково позвала Мотя, — видишь, цвѣтиковъ-то что! Цвѣтиковъ... Соколикъ ты мой!

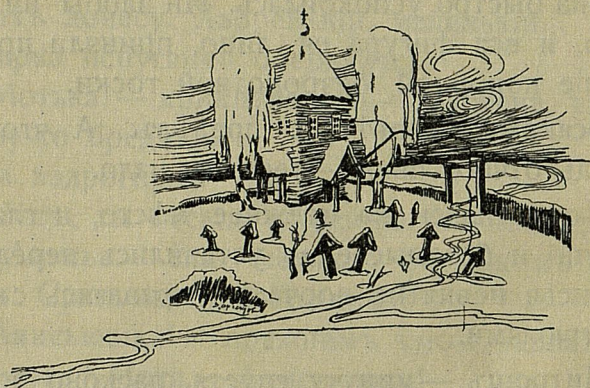
Анисьѣ вдругъ стало жутко; холодныя мурашки пробѣжали по ея тѣлу и по головѣ. Молча повернулась она къ Мотѣ: та бессмысленно глядѣла

передь собой, тихо смѣялась, а по впалымъ щекамъ ея текли крупныя слезы.

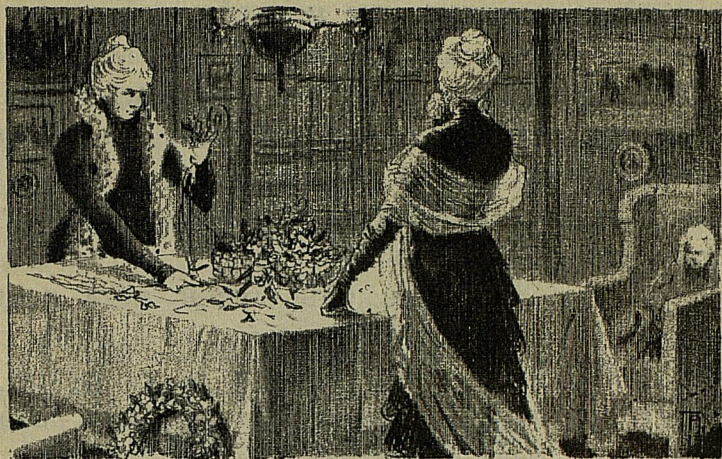
— Андрей! Андрей!— крикнула кухарка въ окно проходившему дворнику.— Поди-ка сюда! Да скорѣй!

И съ испугу она сама бросилась бѣжать по лѣстницѣ къ нему навстрѣчу.

Черезъ недѣлю Мотыка умерла въ больницѣ.







## ТАЙНА ПЕЧАЛИ.

Отъ свѣта висячей лампы зелень казалась темной и печальной. На большомъ обѣденномъ столѣ ея висилась цѣлая груда. Здѣсь же лежали цвѣты, еще совсѣмъ свѣжіе, только что срѣзанные въ оранжереѣ, но и они были тусклы и безцвѣтны.

— Я думаю,—сказала Евгенія по-французски,— что лучше всего сдѣлать много-много маленькихъ вѣночковъ и одинъ большой.

— О, да! — охотно согласилась француженка, mademoiselle Julie. — Я убѣждена, что это будетъ очень красиво.



— Большой вѣнокъ мы повѣсимъ на крестъ, а маленькими покроемъ всю могилу.

— Это будетъ восхитительно!

Обѣ женщины стояли по сторонамъ стола и глядѣли на растенія, обдумывая, какъ и съ чего начать.

— *Voilà!* — сказала француженка. — Разберемъ сперва, что у насъ есть.

Она стала выбирать изъ общей кучи темно-зеленыя вѣтки мирта и откладывать ихъ въ сторону. Евгенія задумчиво слѣдила за ея рукой съ короткими, словно обрубленными пальцами; потомъ она подняла глаза и увидала себя въ зеркалѣ. Въ черномъ траурномъ платьѣ ея высокая, тоненькая фигура казалась еще выше и тоньше. Мелкія пряди свѣтлыхъ золотистыхъ волосъ вились кругомъ лба и окружали ея лицо блестящимъ ореоломъ. Еще ни разу не случалось ей встрѣчать цвѣтъ лица, подобнаго своему, и она любила его и гордилась имъ.

Евгенія съ трудомъ оторвалась отъ своего образа въ зеркалѣ и протянула руку къ корзинѣ съ цвѣтами. Цвѣтовъ было множество, несмотря на позднее осеннее время, но ни одинъ изъ нихъ не зналъ, что значить бороться съ холодомъ длинныхъ, темныхъ ночей и переносить на себѣ удары тяжелыхъ капель непривѣтливаго осенняго дождя.



Евгенія придвинула къ себѣ корзину и, любуясь цвѣтами, но оберегая отъ уколовъ свои тонкіе, бѣлые пальчики, принялась за дѣло.

— Тата,—весело позвала француженка,—развѣ вы не хотите намъ помочь?

— Но ея здѣсь нѣтъ!—замѣтила Евгенія.

— Нѣтъ, она здѣсь. Вотъ она!—сказала *mademoiselle Julie* и указала въ темный уголь, гдѣ стояло большое старое кресло.

— Что ты тамъ дѣлаешь?—удивленно спросила Евгенія, оборачиваясь къ сестрѣ и стараясь разглядѣть въ темнотѣ ея маленькую фигурку.—Иди къ намъ.

Дѣвочка сидѣла, прижавшись къ мягкой спинкѣ кресла, и глядѣла въ потолокъ.

— Развѣ вы не хотите намъ помочь?—повторила француженка.—Однако вамъ не мѣшало бы сплести маленькій душистый вѣночекъ на могилу вашей бѣдной мамы.

Дѣвочка промолчала и только еще тѣснѣе прижалась въ уголокъ, такъ что большое широкое кресло могло казаться совсѣмъ пустымъ.

— Вспомните, какіе прелестные пестрые вѣночки вы плели себѣ на лугу,—продолжала убѣждать ее *mademoiselle Julie*.— Не полѣнитесь же вы теперь для вашей нѣжно любимой мамы?

— Оставьте меня!—нетерпѣливо отозвалась дѣвочка.—Оставьте, пожалуйста.

— О! вы опять капризничаете, Тата. Это нехорошо. Завтра ровно шесть недѣль, какъ умерла ваша мама. Въ память этой дорогой, бѣдной мамы вы бы должны были переломить свой дурной характеръ и сдѣлаться кроткой, послушной дѣвочкой. Какъ она прежде любила васъ! *Un bon mouvement*, Тата! Прогоните вашъ капризь и присоединитесь къ намъ.

— Да оставьте же меня!—вскрикнула дѣвочка, и въ голосъ ея послышались слезы.

— Ну, и не будемъ разговаривать съ ней!—сказала Евгенія и пожала плечами.

— Но что съ ней?—тихо спросила француженка.—Вы слышали, что я не сказала ей ничего рѣзкаго? Вашъ отецъ опять будетъ недоволенъ, если узнаеть, что она плакала.

— Отецъ самъ виноватъ. Онъ слишкомъ балуетъ ее,—сухо отвѣтила Евгенія.—Если это будетъ такъ продолжаться, я не знаю, что изъ нея выйдетъ.

Вошелъ нѣмецъ-садовникъ съ новымъ запасомъ цвѣтовъ и зелени.

— Какъ идутъ дѣла?—добродушно и весело спросилъ онъ, приближаясь къ столу.—Я пришелъ помогать.



— О, это совсѣмъ лишнее! — быстро сказала француженка и насмѣшливо усмѣхнулась. — Я и mademoiselle Eugénie справимся вдвоемъ.

— А такой букетъ, какой я сдѣлаю, вы сдѣлаете? — съ явнымъ вызовомъ въ тонѣ спросилъ нѣмецъ и подмигнулъ.

— У васъ невоспитанная манера подмигивать! — вдругъ разсердилась Julie. — Зачѣмъ вы всегда мнѣ подмигиваете?

— Какъ это я подмигиваю? — спросилъ садовникъ и вдругъ расхохотался. — Развѣ такъ плетуть? — спросилъ онъ и протянулъ руку, чтобы взять начатый вѣнокъ изъ рукъ гувернантки.

— Monsieur Renn! — вскрикнула разсерженная француженка и оттолкнула его руку. — Я знаю, что я дѣлаю, и такъ, какъ я дѣлаю, будетъ хорошо. Если это вамъ не нравится, тѣмъ хуже для васъ! У всякаго свой вкусъ.

Нѣмецъ опять засмѣялся и отошелъ къ другому концу стола.

— Сердитая какая! О-о! — замѣтилъ онъ, снова подмигивая въ сторону mademoiselle, и его немолодое, широкое, добродушное лицо сложилось въ лукавую усмѣшку.

— Какъ сохранить цвѣты, чтобы они не завяли до утра? — спокойно спросила Евгенія.

— А поручите это мнѣ и тогда будьте спокойны,—сказаль Реннѣ.—Я сохраню. Я знаю, какъ обращаться съ живыми цвѣтами. Смотрите, какъ свѣжи мои цвѣты. Они, правда, живые... Живые, какъ птички, которыя поють пѣсни.

— Но они очень глупо срѣзаны, — замѣтила Julie, обращаясь къ Евгеніи.—У однихъ очень длинные стебли, у другихъ—почти ничего. Трудно сдѣлать что-нибудь изъ такихъ странно срѣзанныхъ цвѣтовъ.

Нѣмецъ громко захохоталь.

— Она знаетъ только бумажные цвѣты! Она думаетъ, что стебель, это — проволока, которую можно нарѣзать верхками или аршинами, какъ ей хочется. Она это думаетъ!—смѣясь и подмигивая заговориль онъ.

— Вы не можете знать, что я думаю, — обидчиво начала француженка, но въ эту минуту дверь быстро отворилась, и въ комнату поспѣшно вошелъ высокій сѣдой человѣкъ со впалою грудью и безпокойнымъ нервнымъ лицомъ.

Онъ увидаль столъ, покрытый зеленью, и внезапно остановился.

— Да... вотъ что!—тихо сказалъ онъ.—Это къ завтрашнему... Прекрасно, прекрасно! Не жалѣйте цвѣтовъ, Реннѣ. Отдайте всѣ, всѣ...



— Больше не надо, папа, — спокойно замѣтила Евгенія.

— Отчего больше не надо? — удивленно спросилъ старикъ. — Всѣ, которые есть, всѣ надо. А гдѣ же Татка? — съ безпокойствомъ спросилъ онъ, оглядываясь вокругъ. — Татки здѣсь нѣтъ! гдѣ Татка?

— Я здѣсь! — тихо откликнулась дѣвочка изъ угла.

— Она опять капризничаетъ, — сказала Евгенія.

— Тата! Татушенька! — съ нѣжностью и безконечною лаской позвалъ отецъ и быстро направился къ большому креслу. — Ты что? А? Что съ тобой?

— Она становится невыносима, твоя Татушенька! — сухо замѣтила старшая дочь.

— Что съ тобой? что? — не слушая ее, съ безпокойствомъ продолжалъ старикъ. Онъ нагнулся надъ дѣвочкой и жадно, внимательно вглядывался въ ея лицо. И онъ видѣлъ, что это дѣтское личико съ большими свѣтлыми глазами, съ маленькимъ носикомъ и кругленькими полными щечками дѣлало невѣроятныя усилія, чтобы не расплакаться и улыбнуться отцу. Вѣки быстро моргали, смахивая слезы, губы кривились и дергались, а въ глазахъ, устремленныхъ прямо на него, выражалось такъ много тоски и недоумѣнія, что отъ этого взгляда у отца защемило на сердцѣ.

— Случилось что-нибудь?—шопотомъ спросилъ онъ.—Что случилось?

— Я не хочу... помогать, — еле слышно прошептала дѣвочка.

— Не хочешь? чего ты не хочешь?

— Плести вѣночекъ.

Онъ помолчалъ, точно обдумывая то, что только что слышалъ, и еще ближе, еще пристальнѣе заглянулъ въ глаза ребенку.

— Такъ не хочешь?—спросилъ онъ.

— Не хочу!—прошептала дѣвочка, не спуская съ него своего тоскливаго, недоумѣвающаго и до-вѣрчиваго взгляда.

— А вотъ я тоже не хочу!—вдругъ сказалъ онъ и сѣлъ на кресло рядомъ съ ней.

Она удивленно оглянулась на него, и личико ея чуть-чуть просвѣтлѣло.

— Отчего?—быстро спросила она.

— А я самъ хочу нарвать цвѣтовъ,—зашепталъ онъ, все еще пристально вглядываясь въ нее, — чтобы никто меня не видалъ... Набрать тѣхъ, которые она любила... связать ихъ въ пучочекъ... и отнести самому... самому на ея могилку. Да?

Дѣвочка глядѣла на него вдумчиво и серьезно и вдругъ ясно улыбнулась ему въ отвѣтъ.

— У насъ еще есть астры, папа...—неожиданно оживляясь, быстро зашептала она.—Въ цвѣтникѣ...



астры... Помнишь, она ихъ любила? Отнесемъ ей астръ! Бѣленькихъ, лиловенькихъ. Мы вдвоемъ...

— Да, да! Мы съ тобой... отнесемъ...

Онъ порывисто обнялъ дѣвочку, крѣпко прижалъ ее къ себѣ и вдругъ, точно вспомнивъ о чемъ-то неотложномъ, быстро всталъ съ своего мѣста и, не оглядываясь ни на кого, вышелъ изъ комнаты.

Вѣнки были сплетены и вынесены въ большихъ корзинахъ. Mademoiselle Julie ушла съ Татой, чтобы уложить ее въ постель, и въ большой полутемной залѣ осталась одна Евгенія. Она ходила взадъ и впередъ вдоль темныхъ оконъ, въ которыя громко и непрерывно стучался частый осенній дождь.

Въ домѣ было томительно-тихо, а на дворѣ бушевалъ вѣтеръ. Онъ налеталъ откуда-то издалека, ударялъ въ стекла и обдавалъ ихъ цѣлымъ потокомъ дождя; онъ шумѣлъ въ деревьяхъ сада, срывалъ съ нихъ сухіе листья и вѣтки, и они тоже ударялись о стекла. Рамы дрожали, и незакрытыя ставни скрипѣли и жалобно стонали, удерживаемыя большими желѣзными крюками.

„Боже мой! что дѣлается на дворѣ! — думала Евгенія. — Осень. . . Потомъ зима — длинная, однообразная, жизнь безъ малѣйшаго интереса, безъ развлеченія, среди скучныхъ людей, скучной природы. Жизнь, вся сплошь накрытая саваномъ!“



Большая вѣтка ближайшаго тополя хлестнула въ окно, точно постучалась въ него съ отчаянной надеждой найти себѣ защиту и помощь.

Евгенія чуть-чуть вздрогнула и отошла подальше отъ оконъ.

— Жизнь съ томительной жаждой радости, счастья и съ тяжелой необходимостью подчиниться чужому настроенію.

Настроеніе отца ужасно... Онъ былъ бы готовъ похоронить себя въ одной могилѣ съ женой: онъ рѣшилъ похоронить всю семью въ старомъ деревенскомъ домѣ. О переѣздѣ въ городъ онъ не хочетъ и думать. Они будутъ жить здѣсь всю зиму, весь годъ... Они будутъ ходить на могилу, служить панихиды. Отецъ будетъ просиживать цѣлыми днями въ своемъ кабинетѣ, Тата будетъ капризничать и, въ концѣ-концовъ, непременно выживетъ изъ дома Julie и поссоритъ Евгенію съ отцомъ. Что сдѣлалось съ этою дѣвочкой со смерти матери? Ее трудно узнать, — ее, всегда такую веселую и кроткую! Оттого ли такъ измѣнилась она, что отецъ не хочетъ и не можетъ скрыть, до чего онъ любитъ ее. Онъ любилъ ее и раньше, но не такъ. Онъ былъ добръ и ласковъ къ нимъ обѣимъ... почти равно. Евгенія даже не замѣчала тогда его предпочтенія къ младшей сестрѣ. Теперь онъ не можетъ часа прожить безъ нея. Когда онъ не ви-



дить ея, онъ беспокоится, бѣгаетъ, ищетъ: „Гдѣ Татка? Гдѣ Татка?“ Вотъ все, что иногда цѣлыми днями говоритъ онъ съ окружающими. Если дѣвочка почему-нибудь огорчена или не въ духѣ, онъ сердится на другихъ, онъ выходитъ изъ себя до того, что становится несправедливымъ и рѣзкимъ. Онъ не позволяетъ сдѣлать ей ни малѣйшаго замѣчанія, онъ не допускаетъ ни малѣйшей строгости. Говоритъ онъ только съ ней. Они шепчутся, глядя другъ другу близко въ глаза. Ночью, въ халатѣ, со свѣчой въ рукахъ, онъ проходитъ по коридору въ ея комнату и долго стоитъ надъ ея постелькой. Татка спитъ, а онъ глядитъ на нее, шепчетъ что-то и креститъ ее маленькими, поспѣшными крестиками. А Татка почувствовала свою силу, и ей тоже никого не надо, кромѣ отца. Она отстранилась отъ сестры и возненавидѣла французженку. Она стала скрытна и упряма. Но что хуже всего: она стала неискренна, она научилась притворяться. Когда Julie или Евгенія возмущаются при отцѣ ея упрямствомъ, она не оправдывается, а глядитъ на отца своими большими сѣрыми глазами и молчитъ. Когда Евгенія сердится на нее и добивается, чтобы она объяснила ей свое поведеніе, она глядитъ на нее и молчитъ. И каждый разъ въ ея взглядѣ одно и то же выраженіе, какъ будто она заучила его, какъ заучиваютъ опытныя актрисы:



этотъ взглядъ выражаетъ тоску и недоумѣніе. Уже нѣсколько разъ Евгенія не выдерживала и принималась серьезно говорить съ сестрой.

— Зачѣмъ ты притворяешься? — возмущенно спрашивала она. — Ты отлично знаешь, что ты виновата, что ты была упряма, капризна. Зачѣмъ ты дѣлаешь видъ, что тебя обидѣли, что къ тебѣ несправедливы? Развѣ это хорошо?

Дѣвочка молчала и глядѣла на сестру своимъ тоскливымъ, недоумѣвающимъ взглядомъ.

— Отчего ты не такая, какой была прежде, Тата? Ты была такая простая и милая. Ты никого не огорчала, никому не дѣлала неприятностей. Теперь... ты прекрасно видишь, что папа на всѣхъ сердится изъ-за тебя: и на меня и на Julie. Папа и безъ того боленъ и огорченъ, и всѣ мы огорчены и несчастны, а ты дѣлаешь насъ еще несчастнѣе. Ты была милая дѣвочка, Тата; теперь ты... злая и нехорошая.

Дѣвочка начинала громко плакать, а Евгенія пугалась при одной мысли, что въ эту минуту можетъ войти отецъ. Изъ одного страха, безъ чувства состраданія или раскаянія, она принималась утѣшать сестру.

— Ну, не плачь! — принуждая себя казаться ласковой, говорила она и холодно цѣловала ее мокрая отъ слезъ щечки. — Ну, перестань! Не надо пла-



кать, а надо стараться исправиться. И я вѣрю, что ты исправишься... Да не плачь же! Или ты хочешь, чтобы папа услыхалъ и опять разсердился на меня?

Евгенія, дѣйствительно, готова была заподозрить сестру, что она плакала только для того, чтобы обратить на себя вниманіе отца и навлечь на нее, Евгенію, его гнѣвъ. Это маленькое восьмилѣтнее существо точно встало между нею и отцомъ и отодвинуло ихъ далеко другъ отъ друга. Тата никого не хотѣла знать, кромѣ отца; отецъ думалъ и заботился только о Татѣ; а Евгенію возмущала и оскорбляла эта внезапная горячая симпатія, которую она не умѣла понять и которая оставляла ее въ сторонѣ, одинокой и какъ будто забытой. И при такихъ условіяхъ ей предстояло провести цѣлую долгую, безконечную зиму! Ни отецъ ни сестра не будутъ чувствовать тѣхъ лишеній, которыя предстоитъ перенести ей. Они замѣнятъ другъ другу весь міръ, и для нихъ въ тишинѣ и глуши деревни найдутся доступныя имъ радости и отрада. Отецъ старъ и боленъ, сестра еще мала. У нихъ нѣтъ сознанія молодости, красоты, силы; имъ не надо ничего, кромѣ взаимныхъ ласкъ. Зачѣмъ же и ей оставаться здѣсь, съ ними? Жить день за днемъ скучной, безсодержательной жизнью, томиться тоской и одиночествомъ? Отчего никто не подумалъ



о ней; не справился объ ея желаніи, не позаботился объ ея счастье?

Евгенія ходила взадъ и впередъ по большой полутемной залѣ, вдоль темныхъ, заплаканныхъ отъ дождя оконъ; и чѣмъ больше думала она о себѣ, о своемъ положеніи въ домѣ, тѣмъ больше чувствовала она свое одиночество, тѣмъ тяжелѣе становилось у нея на душѣ; точно и въ ней, въ этой молодой, еще неокрѣпшей душѣ, бушевала осенняя непогода, налетали порывы бури и ломали и выбрасывали вонъ тѣ чувства, которыя прежде давали ей счастье и радость. Если никто не думалъ о ней, если никто не любилъ ея, она тоже не хотѣла думать ни о комъ, не хотѣла любить никого.

Навстрѣчу ей изъ темной гостиной вышла французенка и съ видомъ крайняго утомленія бросилась на первый попавшійся стулъ.

— Ah! c'est trop fort! — сказала она. — Послѣ смерти madame въ этомъ домѣ все такъ измѣнилось, что выносить этой жизни я больше не въ силахъ. Я уѣзжаю!

— Что случилось?—испуганно спросила Евгенія. Julie пожалала плечами.

— Ничего!—сказала она.—Ничего! Вашъ отецъ тамъ, у Tata. Эта дѣвочка за что-то возненавидѣла меня, и я не знаю, что она сказала monsieur, но



и онъ совершенно переѣнился по отношенію ко мнѣ. Онъ очень вѣжливъ... О! я ни въ чемъ не упрекаю его, но я чувствую, что онъ пересталь мнѣ довѣрять. Еще сейчасъ онъ такъ подозрительно спрашивалъ меня, о чемъ я говорила съ Tata, въ какихъ выраженіяхъ я говорила. Боже мой! Я уже четыре года при этомъ ребенкѣ, я уже давно успѣла полюбить его! — Она закрыла лицо руками и заплакала. — Я считала себя родной въ вашемъ домѣ; мнѣ дали почувствовать, что я чужая, и лучше будетъ... лучше будетъ, если я уѣду.

Евгенія стояла, слушала жалобы Julie и смотрѣла, какъ она плачетъ.

— Зачѣмъ я буду жить въ домѣ, гдѣ я не нужна? — продолжала француженка. — Monsieur не довѣряетъ мнѣ больше воспитанія Tata; онъ хочетъ заняться имъ самъ. Онъ слишкомъ деликатенъ, чтобы сказать это прямо, но это ясно изъ его постоянного недовольства мною... Ахъ! что это такое? — вдругъ испуганно вскрикнула она и отняла руки отъ лица.

— Это вѣтка стучитъ въ окно! — спокойно сказала Евгенія. — Это вѣтеръ. Не бойтесь.

Француженка приложила руку къ груди и замолчала, глядя передъ собой печальными, заплаканными глазами.

— Жить здѣсь, въ глуши, въ одиночествѣ, — наконецъ, тихо проговорила она, — чувствовать къ себѣ непріязнь, недовѣріе...

— Нѣтъ, этого не будетъ! — вдругъ твердо и рѣшительно сказала Евгенія. — Или вы не уѣдете, и все останется по-старому, или я уѣду вмѣстѣ съ вами. Теперь мое рѣшеніе принято, и оно не можетъ измѣниться.

Она вся выпрямилась, точно выросла, и въ ея темныхъ, нѣжныхъ, всегда привѣтливыхъ глазахъ мелькнуло жестокое, упрямое выраженіе.

— Отецъ въ дѣтской? — стараясь казаться какъ можно спокойнѣе, спросила она.

— Да, они тамъ вдвоемъ. Tata объявила, что не хочетъ спать, и monsieur сидитъ у нея на постели.

— Если она не хочетъ спать, тѣмъ лучше! — сказала Евгенія. — Мы, наконецъ, поговоримъ и втроемъ.

Она подняла голову такъ, какъ будто хотѣла придать себѣ какъ можно больше храбрости, и, сдерживая волненіе, отъ котораго сразу похолодѣли ея руки, спокойнымъ и ровнымъ шагомъ направилась въ гостиную.

Въ дѣтской горѣла одна свѣча.

Когда Евгенія рѣшительно отворила дверь, она увидала на противоположной стѣнѣ высокую тѣнь



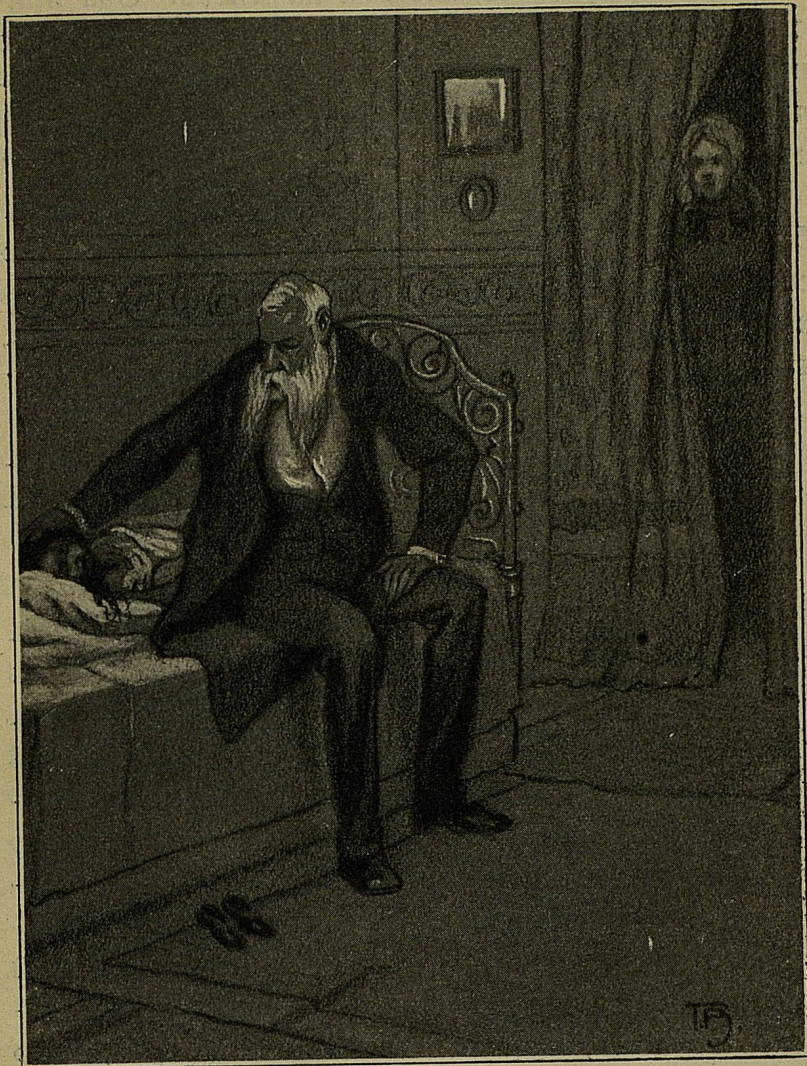
узорчатой спинки кровати и черный, безобразно вытянувшійся силуэтъ отца. Огонь свѣчи отклонился, и неподвижныя тѣни на стѣнѣ заколыхались, какъ будто охваченныя волненіемъ. Старикъ не замѣтилъ ничего. Онъ сидѣлъ на кровати дочери, низко опустивъ голову, и говорилъ что-то тихимъ, монотоннымъ голосомъ, словно читалъ. Евгенія остановилась.

— Все она увидитъ, все она пойметъ, — тихо говорилъ отецъ, — все она проститъ намъ, дѣвочка. И за cadaго изъ насъ, и за тебя, и за меня, и за Геню горячо и усердно помолится ея чистая душа, и Богъ услышитъ ея молитву, потому что наша мама теперь близка къ Богу; и Онъ пошлетъ намъ утѣшеніе, спокойствіе и миръ. Мама сдѣлаетъ такъ, что мы опять всѣ, всѣ сойдемся близко и тѣсно и не будемъ больше ни сердиться ни раздражаться, а пожалѣемъ другъ друга за наше общее горе и будемъ нести его вмѣстѣ, дружно и покорно. И оно сблизитъ насъ и сдѣлаетъ насъ еще болѣе дорогими другъ другу. Спи, дѣвочка, спи! Во снѣ ты будешь опять беззаботной и счастливой, а когда ты проснешься и вспомнишь, что твоей мамы нѣтъ съ тобой, вспомни также, что остался съ тобой твой старый отецъ, что онъ такой же слабый и виноватый, какъ ты, что оба мы съ тобой не умѣемъ покориться нашему горю, ты —



потому, что ты еще мала, моя крошка, потому что печаль еще незнакома тебѣ; я—потому, что я старѣ, потому, что у меня уже мало силы. Оба мы равны въ томъ, что у насъ мало силы! И когда ты чувствуешь печаль, ты не сознаешь ея и глядишь своими тоскливыми, недоумѣвающими глазами; и когда горе гнететъ меня, я не сознаю свою несправедливость, свою грубость къ людямъ. Но если никто не понимаетъ насъ, если на насъ сердятся, если на насъ негодуютъ, мы понимаемъ другъ друга, моя дочка. Мы знаемъ, что только горе, одно горе мѣшаетъ намъ быть добрыми и справедливыми, и мы знаемъ, что то же горе мѣшаетъ быть добрыми и справедливыми къ намъ. Геня не сердится! Геня наша! Такая же любящая, печальная и несчастная, какъ мы. Еще несчастнѣе, быть-можетъ. Она не хочетъ быть съ нами, она хочетъ быть одна, потому что у нея есть сила и она борется со своей печалью. Она видитъ, какъ мы слабы и беспомощны, и она отстранилась отъ насъ... пока. Сильные не любятъ слабыхъ, потому что съ ними, среди нихъ теряютъ свои силы. Она не понимаетъ насъ, потому что ей нельзя понимать, чтобы бороться съ собою; но она не разлюбила насъ, Тата, нѣтъ! Она побѣдитъ себя и вернется къ намъ. Она пожалѣетъ насъ и пойметъ и простить...







Евгенія, казалось, застыла на мѣстѣ. Она прислонилась къ косяку двери и, слушая отца, все ниже и ниже опускала голову. Лицо ея загоралось румянцемъ, и глаза медленно заволакивались слезами.

Отецъ говорилъ не для Татки. Татка не могла бы понять его, да она и спала, крѣпко и сладко спала, посапывая своимъ маленькимъ кругленькимъ носикомъ. Отецъ говорилъ для себя, говорилъ то, что наболѣло въ его душѣ и о чемъ не сумѣлъ бы онъ сказать никому въ цѣломъ мірѣ.

— Папа!—осторожно, боясь испугать его, позвала Евгенія. Но онъ все-таки вздрогнулъ, обернулся и молча указалъ на спящую дѣвочку.

— Я знаю,—прошептала Евгенія.

Быстро, но безшумно подошла она къ кроваткѣ, опустилась на полъ и прижалась губами къ рукѣ отца. Она почувствовала, какъ эта рука дрогнула, точно хотѣла вырваться, и потомъ сразу осталась неподвижной, и затѣмъ настала глубокая безмолвная тишина. Здѣсь, въ этой комнатѣ, не слышно было ни дождя ни порывовъ вѣтра. Вѣтви не стучались въ окна, плотно закрытыя ставнями снаружи и занавѣшенныя шторами внутри. По бѣлой стѣнѣ колыхались взволнованныя тѣни, а единственнымъ звукомъ, который могъ уловить слухъ, было спокойное, ровное дыханіе спящаго ребенка.



Наконецъ рука опять сдѣлала движеніе, медленно высвободилась и осторожно приподняла голову Евгеніи. Отецъ и дочь поглядѣли другъ другу въ глаза.

— Геня, — чуть слышно сказалъ старикъ, — вѣришь ли ты, что я долго не понималъ, что горе дѣлало меня несправедливымъ, жестокимъ?

— Не тебя одного, не тебя... — прошептала Евгенія.

— А она, — продолжалъ отецъ, указывая на дѣвочку, — она даже не сознаетъ, что у нея есть горе! Когда ей говорятъ, что она стала нехорошая, злая, она вѣритъ... У нея нѣтъ оправданія. — Свободной рукой онъ оправлялъ на подушкѣ разметавшіеся волосы маленькой Таты. — Нѣтъ оправданія, а въ душѣ неясный протестъ и боль и недоумѣніе. Когда я понялъ это, Геня, я узналъ такую жалость, которую не испыталъ еще никогда. Если я оскорбилъ тебя ею, Геня, прости. Ты уже не только дочь, ты — другъ.

Они осторожно поднялись и, крѣпко обнявшись, глядѣли на маленькую спящую фигуру.

— Отчего я не знала? — съ глубокимъ раскаяніемъ спросила Евгенія. — Отчего ты не сказалъ мнѣ?

И когда они, все такъ же обнявшись, вышли изъ дѣтской и, направляясь къ залѣ, проходили черезъ длинную темную анфиладу комнатъ, Евгенія



уже не удерживала слезъ и не старалась скрыть ихъ отъ отца.

— Отчего мы всѣ такъ много молчимъ?—спрашивала она.—Отчего мы всѣ не хотимъ быть понятными другъ другу? Отчего мы такъ мало доверяемъ любви, преданности, состраданію? Отчего, когда мы страдаемъ, мы дѣлаемся скрытными, самолюбивыми и чувствуемъ себя такъ... такъ страшно одиноко, какъ будто и сами не любимъ никого?

Отецъ ласково цѣловаль ея маленькую, тоненькую ручку.

— Мы всѣ немного похожи на дѣтей,—грустно отвѣтилъ онъ.—Когда мы несчастны, мы не хотимъ говорить объ этомъ и мы ждемъ, чтобы насъ поняли, чтобы насъ пожалѣли. И нѣтъ благодарности горячѣе, безграничнѣе, какъ благодарность чловѣка къ тому, кто угадалъ его душевное состояніе, кто сумѣлъ его пощадить и не осудить.

Они вышли въ залу. На столѣ, на которомъ недавно лежали цвѣты, накрывали къ ужину. У окна сидѣла француженка и попрежнему глядѣла передъ собой печальными, заплаканными глазами. Она обернулась на шаги, увидала отца и дочь и съ тихимъ вздохомъ опустила глаза. Они подошли къ ней и остановились.

— Тата заснула?—спросила она.

— Спать наша Тата!—сказаль старикъ.



Евгенія нагнулась и обвила рукою шею Julie.

— Вы не уѣдете, Julie, — сказала она. — Вы не чужая намъ. Отецъ не хочетъ, чтобы вы оставили насъ.

Француженка робко и недовѣрчиво взглянула на Евгенію и перевела глаза на ея отца.

— Уѣзжать? вамъ? — удивленно спросилъ старикъ. — Отчего? Зачѣмъ?

Никто не отвѣтилъ ему.

Въ окно рванулся вѣтеръ, заливъ его цѣлымъ потокомъ дождя. Вѣтка хлестнула въ стекло и судорожно забилась, какъ бы умоляя о помощи и защитѣ.

Трое людей тѣсной группой глядѣли въ непроницаемую темноту ночи, и хотя они не находили тѣхъ словъ, которыя могли бы сказать другъ другу, они чувствовали, что ихъ молчаніе понятно всѣмъ; и что если впереди ихъ ждуть новыя недомолвки и сомнѣнія, въ эти минуты они связаны тѣмъ высшимъ откровеніемъ, которое нисходитъ на людей для того, чтобы они различили свѣтъ въ темнотѣ, увидали надежду тамъ, гдѣ царили отчаяніе, озлобленіе и смерть.



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

---

	<i>Стр.</i>
Первое горе . . . . .	3
Вѣтеръ шумѣль . . . . .	26
Мотькинъ предѣль . . . . .	45
Тайна печали . . . . .	85



## Книги для средняго возраста.

**Александръ Блокъ.**

**КРУГЛЫЙ ГОДЪ.** Стихи для дѣтей. Рис. *Г. Алексѣва*. Ц. 15 к.

**СКАЗКИ.** Стихи для дѣтей. Рис. *Г. Алексѣва*. Ц. 15 к.

**Л. Авилова.**

**ПЕРВОЕ ГОРЕ** и другіе рассказы. Рис. *Г. Алексѣва*. Ц. 40 к.

**ХРИСТОСЪ РОЖДАЕТСЯ** и друг. рассказы. Рис. *Г. Алексѣва*. Ц. 40 к.

**Евг. Барановъ.**

**ТЕМБОТЬ, ДЖИГИТЪ БЛАГОРОДНЫЙ.** Кабардинская сказка. Рис. *В. Комарова*. Ц. 15 к.

**Лабулэ.**

**ЗАМОКЪ ЖИЗНИ.** Сказка. Перев. съ франц. *В. Книжниковой*. Рис. *Н. Пискарева*. Ц. 15 к.

**Максъ Нардау.**

**ДѢДУШКИНЫ СКАЗКИ.** Въ переводѣ *Л. П. Никифорова*. Рис. *А. Комарова* и *Н. Пискарева*. Отдѣльными выпусками. Ц. кажд. выпуска 15 к.

**Художникъ-Творецъ.**—**Таинственное королевство.**—**Сердечная нить.**—**О богатой и бѣдной собакѣ.**—**Ручной левъ.**

**Карль Эвальдъ.**

**СКАЗКИ ПРИРОДЫ.** Въ переводѣ *В. и Б.* Рис. *А. Комарова*. Отдѣльными выпусками. Ц. кажд. вып. 15 к.

**Аистъ и дождевой червякъ.**—**Кораллы.**—**Земля и комета.**—**Воробей.**—**Головастики.**—**Двѣнадцать сестеръ** (майскіе жуки).—**Въ глубинѣ морской.**—**Четыре добрыхъ друга.**



Цѣна 40 коп.













2007338772